С 84(5Кир)
А36

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

А 1

БЕЛЫЙ ПАРОХОД

ПОВЕСТИ

TOSHKENT SHAHAR YASHNOBOD TUMANI
№ 34420
AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZI

[illegible] · 1981

Л11
84.3КИ

А $\frac{70303\ \ 4702280200-266}{М171(03)-81}$ 131—81

© Лениздат, 1981, иллюстрации.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю... И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе,— просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад через равнину.

А над аилом на бугре стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркурсу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить,— то ли пото-

му, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника,— но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламывая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в

птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали насколько хватал глаз и видели еще много-много земель, о которых прежде не подозревали, видели реки, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называется «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен? Да

тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была — название одно! Ох и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя, тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом[1] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень[2], и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так...

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил ехать. Не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома! Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном

---

[1] Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.
[2] Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить,— невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна.— Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

...Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно было уже начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверное, всегда и с радостью и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало и она все пыталась скрыть непрошенные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть

свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да,— ответил парень.— Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай[1], но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит,— недовольно проговорил кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя — на Украине это было — и остался там жить, всего лет пять, как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну да ладно.— И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена.— Один из почтеннейших людей аила поднял бокал.— А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита.— Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

[1] Агай — почтительное обращение к старшему (букв.: старший брат).

— А ведь и правда, было так,— отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен! А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в ауле новую среднюю школу; одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени.

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулайм ановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета,— сказал я ей.

— И я об этом же думаю, — вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядшему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом,

наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным,— просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам — это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом,

тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1923 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков — джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам»,— но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок,— начал он заикающейся скороговоркой,— раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец,— быстро отозвался Дюйшен.— А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну, это дело...

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу — с вашей помощью, конечно,— вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговору, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень,— проговорил Сатымкул, прищуривая глаза, словно бы прицеливаясь.— Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как — зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный: как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы — бедняки,— уже тихо проговорил Дюйшен.— Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек! Разве что чужие табуны угонять... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле.— Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаза, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну беги домой! (И я кинулась догонять ребят.) Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это никак учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга! Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал? Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно пере-

5470

глядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам.

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелим побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить,— сказала я.

— Ну почему же не отпустит? Отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай,— ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя.— Он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело.— Ты чья будешь?

Я промолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет,— подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай,— снова улыбнулся мне Дюйшен,— ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой,— застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки! — крикнула я своим подругам.— Давайте высыплем кизяки в школе — все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я в первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засвет-

ло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону.— И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове.— Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти — ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет,— к ним мне было не привыкать,— я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится.

Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя — тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся сжалась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка.— Ей не до учебы! Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов! У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка.— Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эх, баба! — гаркнул он, выбираясь из ямы.— С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь — учи, хочешь — изжарь ее. А ну убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать,— объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. В последствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге,— он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме

этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры,— говорил Дюйшен.— Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли — учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир...

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулие-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как

«бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул: ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знание.

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им,— все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа.

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. И Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глу-

Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур,— в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в не ведомом никому промерзшем сарае, именуемой школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на перевязи все так же смотрел на нас со стены и все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову: чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждем тебя!»

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. Тоска утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло. — Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой

конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет,— отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки.— Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал.

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов.

Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой раздался над землей и застыл где-то в воздухе.

Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели.

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий.— Картанбай всполошился, ища в темноте шубу.— Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!

Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные! — вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома.— Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу[1].—

---

[1] Камча — нагайка, плеть.

Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскакала до аила и рухнула как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну, — суетился Картанбай. — А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня, — ответил Дюйшен. — Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой. — Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим соплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение...

— Да не о том речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай. — Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть — наживу еще...

— Дело говоришь, старик, — отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. — Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее, умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову...—перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы с тобой его не оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи во дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет,— сказала Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо: — Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да никак сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы.— А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... Нашла себе забаву — в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимала теткины угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка,— смеялся Дюйшен.— Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколько не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел как пень краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька,— сказала она,— там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой»,— решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была па дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы все гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:

— Постой, Алтынай.— Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.— Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мной тетка.

— Я сам за тебя отвечу,— сказал Дюйшен.— А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он.— Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать те-

бе.— Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся.— Помнишь, в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез? Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, говорит, пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе, как одной овцой, не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. А Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты, говорит, подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной что захотят, и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело,— сообщил он, загадочно улыбаясь.— Вот эти тополька я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти тополька. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие, сизоствольные тополька. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись тополька, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад.— А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут краси-

вые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было.

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход,— сказал он, когда мы возвращались в аил.— Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет,— ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремитель-

но, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом,— быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице. Дюйшен подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не сдвинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами! А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я ж говорила! — взвизгнула тетка.— Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове.

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте. Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука. Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных петухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, вы-

сохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее,— приказал краснорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания — так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопения, беспробудного храпа, только бы не оставаться здесь, умереть — так

умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унизительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы.

А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, ал готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем... Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, а ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его ей помочь собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут соби-

рать народ в дорогу, а потом присмотрелась — и оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюйшен схватил его за шиворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами.— Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий, нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошным голосом.— За черные дни мои, душегуб! Не отпущу тебя живым!

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтоб ворон выклевал твои глаза. Не приведи господь увидеть тебя еще раз!

Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развевающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в голове. Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне. Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня,— сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке.— Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем,— сказал он наконец.— Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся.— Он достал из кармана кусочек мыла.— На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый, брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собою всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в ауле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке, они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка,— сказал он,— светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-чего понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах! Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя,— сказал он.— Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то

грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься... Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь,—дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку.— Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай.— Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб.— Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на перевязи и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни... Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь...

...Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о кото-

рых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии: казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору...

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, распахано много полей, построены новые дороги и мосты,— но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я.— Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну, тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизоствольными деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляют в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся светлая вода в полном арыке чуть рябила, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки; солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все

еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что сталось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб,— предполагали они,— время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель,— думала я временами.— Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход: проплыл за окном одинокий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом ювалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины, кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и, так же ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы?— участливо спросил он по-казахски.— Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа или брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому,— пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну...— ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем,— сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то

шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу, и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками,— это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать та-

кие места, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает.

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того, как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самой себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин?.. И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был бы это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-ин-

тернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко, и сидит на ветке тополя, и смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз! Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

ВЕРБЛЮЖИЙ ГЛАЗ

1

Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как над степью пронесся истошный крик:

— Э-эй! Академик, морду набью-у-у!

Я замер. Прислушался. Вообще-то меня зовут Кемелем, но здесь прозвали «академиком». Так и есть: трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещает набить мне морду,— это Абакир. Опять наорет на меня, изругает, а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я — один. И должен доставлять для них на этой одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на всю округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, да куда там — он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет: «Морду набью за простой, да и только! Не затем я здесь ишачу, чтобы время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя!»

А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я в том числе, «славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что не столько я сам виноват в этом, сколько наш учитель истории Алдияров. Краевед! Понаслушался я нашего краеведа и теперь вот расплачиваюсь.

Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой.

Трактор стоит в конце огромного черного поля. А наверху — на кабине — Абакир. Потрясая в воздухе кулаками, он все еще поносит меня, ругается на чем свет стоит.

Я подстегнул лошадь. Вода в бочке выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю.

Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие поехали в Казахстан, на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался.

Здесь только первую весну работают, да и то всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин — он тут главный над всеми нами — испытывал на небольшом поле богарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов в Анархайской степи, может, удастся разрешить.

Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен Анархай летом: даже каменные колючки — таш-тикен — и то, случается, сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняют сюда с осени скот на зимовку, не решаются пока сеять, выжидают: поглядим, мол, что у других получится... Потому нас всего-то здесь по пальцам перечесть: два тракториста, два прицепщика, повариха, я — водовоз — и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас, да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседнее урочище к чабанам, ругается оттуда по рации с начальством да сводки сообщает для отчетности.

Да-а, а я-то думал — целина, масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал нам, школьникам, Анархай: «Веками нетронутая, роскошная полынная степь, простирающаяся от Курдайского нагорья вплоть до камышовых зарослей Балхаша! По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах Анархая, бесследно исчезали целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай — безмолвный свидетель минувших эпох, арена грандиозных битв, колыбель кочевых племен. А в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства...» Ну и так далее, в том же духе...

Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте, там он с ладонь. А теперь? С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом ем без всякого аппетита то, что дает мне наша Альдей, заваливаюсь в юрте спать и сплю мертвецким сном.

Но что Анархай роскошная полынная степь — это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой, да времени нет.

Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? Если

бы я знал, что меня здесь ждет... Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я сюда ехал. Но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди...

Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах, и я даже не подозревал тогда, что именно из-за нее хлебну здесь столько горя.

Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более что я никогда не имел дела с хомутами и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал, только вот на субботниках помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь... А все-таки надо было сразу. Постыдился. Столько шуму было тогда на собрании! И мать не отпускала, она мечтала увидеть меня врачом. Но я настоял, уговорил — помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы сразу вернулся. Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее.

Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза: вот он, древний легендарный Анархай! Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом. Но в волглом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали.

И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной, с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища.

Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда...

Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становится все меньше и меньше, он превратился в темную черточку, а потом и вовсе исчез из глаз.

Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...

В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетия простояла здесь, словно в дозоре, глубоко осев в землю и вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина:

— Как вы думаете, товарищ агроном, кто мог поставить здесь эту фигуру?

Сорокин собрался куда-то ехать.

— Должно быть, калмыки,— сказал он, садясь в седло, и уехал.

Что бы мне тогда на этом успокоиться! Нет! Меня словно кто за язык тянул, и я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться:

— Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке. А это надгробный памятник двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в тянь-шаньские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые светлоглазые люди.

Я залез бы еще дальше в глубь истории, но меня перебил человек в комбинезоне, стоявший у трактора. Это был Абакир.

— Эй ты, малый! — Он метнул на меня исподлобья раздраженный взгляд.— Больно ты ученый. Пойди-ка принеси из юрты шприц с тавотом.

Оказывается, я принес ему шприц с солидолом.

— Эх ты, академик! — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими, в красных прожилках, глазами.— Лекции читаешь нам, неучам, а кобылу от верблюда не умеешь отличить.

Отсюда и пошло — «академик».

Вот и сейчас я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне.

— Ты что ползешь, словно вошь прибитая! Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу, щенок, все меньше одним сопливым академиком будет.

Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать в свое оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще, прицепщица Калипа вступается за меня:

— Ну успокойся, успокойся, Абакир! Криками тут не поможешь. Смотри, на нем и так лица нет. Совсем измучился, бедняга.— Она берет из моих дрожащих рук ведро и заливает водой радиатор.— Он без того старается. Видишь, мокрый весь, хоть выжимай...

— А мне-то что! — огрызается Абакир.— Сидел бы дома да книжки свои читал.

— Ну перестань,— уговаривает его Калипа.— Сколько в тебе зла. Нехорошо так, Абакир.

— Все прощать да спускать этаким вот — задарма помрешь. План-то с меня спрашивают, а не с тебя. Разве кому есть дело, что меня гробит этот ученый олух!

Далась же ему моя ученость. Зачем я только учился и откуда взялся на мою голову историк Алдияров?

Я стараюсь побыстрей уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист — Садабек, человек пожилой, серьезный, он хоть и сердится, но не кричит.

Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакира тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злющим? Ведь не старый еще, едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах, и руки цепкие, клешнева-

тые, но собой видный. А глаза плохие, недобрые. Чуть что, наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все нипочем.

Было у нас недавно одно дело. Дождь занялся с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме. И к утру не перестал. Мы томились в юрте от вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал — у него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя, день-деньской в седле.

Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсиркеп, младший брат Садабека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чабанам. Альдей и Калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садабек и я.

Мы хмуро молчали, занятые каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги, и курил. Садабек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и дратвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал.

Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала кислым овечьим духом. Изредка сверху падали крупные, желтые, как чай, капли. А снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах.

Абакир скучающе зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурок, который упал на краешек кошмы. И сразу же задымила паленая шерсть. Садабек поднял журак и бросил его в золу.

— Ты бы поосторожней,— проговорил он, протаскивая сквозь кожу дратву.— Трудно, что ли, с места подняться?

— А что стряслось?— вызывающе вскинул голову Абакир.

— Кошма загорелась.

— Подумаешь, богатство какое! — Абакир пренебрежительно усмехнулся.— Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай, тебе другого и не надо!

— Дело не в богатстве. Ты тут не один и не у себя дома.

— Знаю, что не у себя дома! У себя я бы и разговаривать с тобой не стал. Понял, рожа ты в кожаных штанах? Да, видно, бог наказал, сижу в этом каторжном Анархае, где место таким вот дуракам, как ты и твоя жена!

Садабек с силой дернул дратву. Шило выскочило у него из руки и отлетело за спину. Он долго смотрел на Абакира ненавидящим взглядом, потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог, а в другой натянутую, как струна, дратву.

— Хорошо, пусть я дурак и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут! — проговорил он, тяжело дыша.— А все другие анархайцы, по-твоему, каторжники? Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну, отвечай, сволочь! — вскрикнул Садабек и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой.

Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и вобрал голову в плечи, готовясь к удару.

Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга.

— Не надо, Абакир! — метнулся я к ним.— Не бей его! Не надо, Садабек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами.

Садабек отшвырнул меня в сторону, и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, вперив друг в друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы Садабека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатились по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и наконец, схватив его, выбежал из юрты.

— Альдей! Калипа! — закричал я женщинам, возвращавшимся с водой.— Живее, живее! Дерутся они, убьют...

Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садыбек и Абакир все еще катались по земле. Мы растащили их, изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу. Но Абакир рванулся из объятий Калипы.

— Ну погоди, колченогая собака! Ты еще будешь молить о пощаде, дрянь поганая, ты еще узнаешь, кто такой Абакир!

Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор:

— А ну, тронь попробуй! Глаза выдеру! Сам себя не узнаешь!

Садабек спокойно взял жену за руку:

— Не надо, Альдей. Он того не стоит...

Я тем временем вышел, разыскал заброшенный мной в суматохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и зарыл его в землю возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушающие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушивая мое горе, зло косилась на меня пустой черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая туманная степь, тихая и утомленная. Ничто ни единым звуком не нарушало ее извечного, глубокого покоя, и только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело...

Вот так я и живу в этой самой роскошной полынной степи... Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетело от Абакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь. Пока не упадешь.

— А ну, Серко, шевелись! Поживей! Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет...

2

Назавтра я поднялся с рассветом, раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя: в лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов, надо доказать, что я ничем не хуже других.

Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатил со своей бочкой к роднику, чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было успеть позавтракать и снова, не теряя ни минуты, возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал.

Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выглянуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре! Будто разлилось огромное лазоревое море, да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной.

О Анархай, о великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь ты в себе от века и что ждет тебя впереди?

Не беда, что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать и над этой землей, и над машинами. Ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут,— это всего лишь начало. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады, побежит вода в прохладных арыках и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура.

И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда!..

Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы. В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да будет благословенна страна Анархай!..

Солнце наконец выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее.

День начинался неплохо. По крайней мере, моторы не глохли — я поспевал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко...

В одну из своих поездок я обнаружил у родника небольшую отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверно, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас, там, за двуглавым холмом. В тех краях располагались чабаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видел однажды фотографию молоденькой вьетнамки с такой же вот, как у этой девушки, челочкой на лбу. Поэтому, наверно, мне и почудилось, будто я ее где-то видел.

Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление здесь было для нее такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я как ни в чем не бывало спрыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, пополняя свою бочку.

Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя мимо меня, она спросила:

— А как называется этот родник?

Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно, должен же как-то называться наш единственный родник. Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине.

— Верблюжий глаз! — сказал я, повернувшись к девушке.

— Родник Верблюжий глаз? — Она тряхнула челочкой и улыбнулась.— Красиво! А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый...

Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, до чего же это здорово — услышать имя любимого учителя здесь, в степи, от незнакомой девушки, которая, подумалось мне, тоже не без его влияния попала сюда, на Анархай. Она еще в прошлом году окончила школу, не нашу, а другую, и теперь работала сакманщицей — помощницей чабана.

— У нас на кошаре колодезная вода соленая,— говорила девушка.— А я слышала, что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят напоить, пусть и они знают, какая она, настоящая вода. Вот выращу их, сдам в отару, а к осени поеду учиться в университет...

— Я тоже со временем думаю учиться,— сказал я.— Только я по механизации пойду. Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так...— показал я на бочку,— временно помогаю... Должны прислать другого водовоза...

Ну это уж я зря, конечно, ляпнул, просто сам не заметил, как сорвалось с языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел.

— Э-эй, акаде-емик, морду набью-у-у! — донесся издали ненавистный голос Абакира.

— Ох, и заболтался же я!

— Что это там? — не разобрав, спросила девушка.

— Да так,— пробормотал я, краснея.— Воду надо везти.

Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками.

— Да еду я, еду! Уймись ты! Нельзя же кричать при посторонних! — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь.

Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всему виной был я. Разговор еще не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать.

— Ну, так как же быть? — промолвил наконец Сорокин, ни к кому не обращаясь.

— А что, на Анархай потоп надвигается, что ли? — ехидно отозвался Абакир.

При этих словах Садабек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат, прицепщик Эсиркеп, тоже поднялся было с места, но раздумал и остался.

Абакир и с ним был не в ладах. Как-то, уступив моей просьбе, Эсиркеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садабека, а сам пересел на водовозку. Ну, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но Эсиркеп в обиду себя не дал, он тоже драться умел. А ведь он старше меня всего года на три.

Абакиру никто не ответил.

— А что тут думать? — добавил он.— Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает.

— Не о том речь, кто виноват, кто не виноват! — ответил Сорокин, не глядя на меня.— Здесь судьба молодого человека решается, как ему быть теперь.

— Ну, уж и судьба! — усмехнулся Абакир.— Судьба таких академиков давно решена: пропащий, ни на что не годный народ! — Он небрежно махнул рукой.— Ну сам посуди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали, они учились по десять лет, а то и больше. Мы их кормили, обували, одевали, а что получилось, чему их там выучили? Машины не знает, хомут на коня надеть не умеет, супонь и то толком не стянет... Почему это я должен отдуваться за него? На кой хрен мне его ученость! Подумаешь, знаток каменных идолов! А с делом не справляется. Раз так — значит, айда, катись, не срывай работу другим! И ты на меня, Сорокин, не напирай, я вкалываю без сменщика и никому спуску не дам. А неугоден — завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда говорить буду; я бы всех этих академиков...

— Довольно! — резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него.— Это мы и без тебя знаем. Не о том речь. А ну, скажи, Кемель, что ты-то сам думаешь?

Я не сразу ответил. Слушая Абакира, я поймал себя на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как все это говорилось, как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий или уж такой тупица, что никогда не постигну того, что доступно Абакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решительно не понимал. Однако я постарался ответить Сорокину как можно спокойнее:

— Я приехал сюда работать прицепщиком. Это для меня важно. А с хомутами и супонями я уже справляюсь. Это знают все, и Абакир тоже знает. Можно было бы и дальше так работать. Но я водовозом не буду. Принципиально не буду.

— Другой работы у нас нет,— сказал Сорокин.

— Значит, мне надо уходить,— заключил я.

Калипа подняла на меня глаза и печально вздохнула.

— Я бы, Кемель, уступила тебе свое место, а сама бы села на повозку, но ведь ты не пойдешь...

Это прозвучало неожиданно. По доброте ли своей или оттого, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за Абакира, вроде бы стыдилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-нибудь смягчить, сгладить его грубость,— потому ли или нет, но она это сказала, а я сгоряча, не подумав, брякнул:

— Пойду!

В юрте стало совсем тихо. Только костер потрескивал с тонким посвистом. Все недоумевая смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь, откажусь? Получалось так, что я сам лез в лапы человеку, который ненавидел меня и не желал мне ничего доброго. Но я промолчал. Сказано — сделано. Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня.

— Это точно? — коротко спросил он.

— Да.

— А мне все равно! — Абакир плюнул в костер.— Но предупреждаю: чуть что — падаю по шее! — И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом.

— А что — чуть что? Что ты заранее угрожаешь? — не выдержал наконец все время молчаливый Эсиркеп.— Справится, подумаешь, премудрость какая! Он на моем плуге работал.

— А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу...

— Прекрати! — снова недовольно оборвал Абакира Сорокин и сказал мне: — С утра принимайся за работу.— Он поднялся и шагнул к выходу.— А теперь отдыхать пора...

В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром? Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним, а с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицепщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задержать движения трактора. Но ведь, кроме этого, я должен во всем помогать трактористу — и по уходу за машиной, и по ремонту. Попробуй подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку, или там еще что...

Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове.

— Ты бы подумал, Кемель. Не пара вы с ним. Добрый ты, безобидный. Заест он тебя, не угодишь ты ему...

— А я не собираюсь ему угождать. А что заест, так мне уж не привыкать.

— Ну гляди, тебе виднее,— тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.

3

Наш поединок с Абакиром начался с первого же дня.

— Заснешь, упадешь под ножи — отвечать не буду!— бросил он единственную фразу перед началом пахоты.

Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться.

Да, под моими растопыренными на раме ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядком, наискось, один за другим, вспарывая и отваливая дымящуюся дернистую толщу целинных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами.

Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь или пока он не убедится, что я выстою. И возможно, нарочно он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступиться. Кто-кто, а уж Абакир-то прекрасно знал, что не очень это сладко сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, вцепившиеся в штурвал плуга,— вот что я собой представлял. За все время я не проронил ни слова, я молчал даже тогда, когда он с особенно злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абакир остановил трактор, я ощутил страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть. Но я не двинулся с места, я ждал приказаний Абакира.

— Подними лемеха! — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахоты и, заглушив мотор, подошел к плугу. Наклоняясь к лемехам, он ощупал острие ножей.— Менять надо, притупились. К утру чтобы было сделано! — сказал он.

— Ладно,— ответил я.— Оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга.

Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе вразвалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь и сам-то тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать, подлец!

Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охапками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать.

Родная, добрая Альдей! С каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешбармак. А мне некогда было расси-

живаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай.

— Зачем он тебе? — спросила она, подавая фонарь.

— Надо. Лемеха буду менять.

— Да что ж это такое, куда это годится! — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру.— Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой!

— А мне что, не позволяй,— огрызнулся Абакир, укладываясь спать.

— Не вмешивайся! — одернул Садабек жену.— У Кемеля своя голова на плечах.

— Ничего, мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Эсиркеп! — Калипа поднялась, собираясь идти со мной.

— Не надо,— сказал я.— Не тревожьтесь. Я сам управлюсь.

С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем.

Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику — напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой?

Добравшись до плуга, я не мешкая взялся за дело. Поднял лемеха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвертывал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное, несподручно. Они сидели в очень неудобных, труднодоступных пазах. Костер то и дело угасал. Я, словно уж, выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал огонь. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока не сменил все ножи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне исцарапанные руки.

Рано утром меня разбудила Калипа. Она приехала с водовозкой.

— Радиатор я уже залила. Иди умойся, Кемель,— позвала она меня,— я полью тебе.

Она ни о чем не расспрашивала меня, и я был благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют тебя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. До чего же приятно

было выпить кисленького квасу из жареного зерна! Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне.

Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-то было не к чему. Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил серьгой, и мы снова двинулись по полю.

Но в этот день я уже сидел за плугом уверенно. Я поверил в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца!

Передо мной в окошке кабины маячил все тот же упрямый, тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал.

В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор.

— Слезай,— сказал он.— Перерыв.

Мы молча сидели на земле, в тени трактора. Абакир покурил, раздраженно покусывая папиросу, потом снял комбинезон и рубаху и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лоснящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнце. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь, но в это время Абакир поднял на меня хмурое разомлевшее лицо.

— Почеши спину! — приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки.

Я промолчал.

— Слышишь? — Он грозно передернул плечами, не поднимая головы.

— Не буду!

— А я говорю, будешь! — Он рывком подтянулся ко мне на руках.— Ну, долго я буду ждать?

Я немного отодвинулся от него:

— Ты всегда тычешь себя в грудь: я рабочий! Я всех и вся кормлю... Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть.

— И был бы! А ты мне в душу не лезь! — Он неожиданно щелкнул меня по носу.

Я вскочил и бросился на него с кулаками. Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатился по земле. Я с трудом поднялся на колени и, не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сшибал меня с ног.

— Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет! Я тебе покажу мою душу! — приговаривал он, нанося мне чугунные удары.

Но я снова и снова вскакивал и молча, остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звериную рожу, а он точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь.

Вот я опять поднялся и медленно двинулся к нему. Он занес руку и, крякнув, как мясник, сплеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, припав к земле и прикусив губу, чтобы не издать ни единого стона.

— Лежишь, академик! Ну-ка, понюхай, чем пахнет земля! — сказал он, тяжело дыша и сплевывая кровь с разбитых губ.— Это тебе не лекции читать про каменных идолов.

Он пошел к своей одежде, истоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша одеваться с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и кулаками драться за правду. Я понял, что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой...

Пока Абакир одевался, залезая в свой комбинезон, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге.

Трактор взревел и тронулся вдоль пашни. Все тот же упрямый, тугой затылок маячил в окошке кабины, и я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.

4

В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах пароконную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек— ездовой. Теперь и водовозу стало легче управляться. На сев переключили трактор Садабека и Эсиркепа, и мы с Абакиром продолжали пахать.

И еще одна очень важная новость.

Несколько дней назад, когда мы после обеда ехали на бричке к полю, я увидел у родника ту самую девушку-сакманщицу. Я спрыгнул с брички. Ездовой придержал было лошадей, но Абакир не дал ему остановиться.

— Айда, не задерживай,— недовольно приказал он.

Я побежал к девушке, и она пошла навстречу мне, остановив своих овец. Но я так и не добежал до нее, надо было догонять бричку, чтобы поспеть к началу работы. Я остановился.

— Здравствуйте! — крикнул я.

— Здравствуйте!— ответила она и тоже остановилась.

Я очень обрадовался, увидев ее, но решительно не знал, что сказать.

— Почему вас не видно с водовозкой, где вы теперь?

— Я теперь на тракторе! — не без гордости прокричал я в ответ.— Мы во-он на том поле! Извините, я очень спешу!

— Бегите, бегите! — Она помахала мне.

Я пустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка не останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что бегу я по вольной весенней степи...

На другой день она появилась у нашего поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками с ягнятами. Мне очень хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы, разве он способен на такой поступок? Я не стал просить его об этом.

В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора, он что-то проверял в моторе.

— Чего это она зачастила?— спросил Абакир.

— Не знаю.

— А как ее звать?

— Тоже не знаю.

— Эх ты, академик! — Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону.— А девка сочная...

Я глянул на него со злостью.

— Иди садись на место! — рявкнул он, и мы двинулись дальше.

Девушка тем временем перегнала овец с пригорка на открытое место, шагах в ста от нашего поля. Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку...

Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины.

— Закрепи рычаг! Иди сюда!

Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал.

— Садись.— Он уступил мне свое место.— Учись управлять!

Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал.

Что произошло с Абакиром, неужели он подобрел ко мне? Однако, недолго думая, я приготовился делать все, что он прикажет.

— Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль. Держи рычаги фрикционов...

Трактор зарокотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием: овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом! И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, с лязгом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия.

Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепщика на развороте остались большие огрехи. Но это не такая уж беда: мало, что ли, земли на Анархае! Зато я научусь водить трактор!

Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, я чувствовал себя уверенней.

— Не дрейфь, академик! — крикнул мне в ухо Абакир.— Я отлучусь малость. А если что, заглушишь!..

Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке-сакманщице. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину.

Абакир стоял возле девушки и беспечно разговаривал с ней. А что ему!.. Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбежать.

Мне не понравилась проделка Абакира. Но в то же время я был счастлив — ведь я сам вел машину! Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир! Что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, построже быть с ним...

Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала овец назад. На лице Абакира я не уловил ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ниче-

го, кроме обычного туповато-надменного самодовольства, не выражало его лицо.

— Айда, академик, на свое место! — Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся.

Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора.

Наша девушка пришла и на другой день. Абакир опять оставил меня в кабине, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог.

«Как бы предупредить ее? — думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону.— Не надо ей встречаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело...»

На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя овец, она убегала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая,— мысленно посылал я ей свои извинения.— Хорошо, что ты так быстро ушла. Но мы еще встретимся. В следующий раз я не останусь на тракторе, я побегу к тебе. А пока иди, не останавливайся, славная девушка с челочкой... Я ведь не знаю даже твоего имени...»

Но напрасно рассчитывал я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. Абакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но и я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку, я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного. Я дал себе слово: при первой же возможности отыскать ее и просто, по душам, поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся.

Как раз в эти дни нас застиг в поле дождь. Он наскочил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля вмиг покрылась вспученными, кипящими лужами. Но Абакир не остановил трактор. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом.

Набухшие водой вспаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Пожалуй, Абакир вообще не остановился бы, если бы на гусеницы не налипли вязкие невпроворот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалясь

у себя в кабине, наверно полагая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище.

Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло. И тотчас же распахнулось небо, сияющее бездонной, прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайские просторы раздвинулись еще шире, стали еще привольнее. Через весь небосклон пролегла над Анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветье радуги и блеклая полынная степь! Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых, тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли, ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь.

И я снова почувствовал в себе силу, я тоже воспрянул духом, снова ожили во мне мечты о стране Анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле, и никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить в прекрасное будущее Анархайской степи. Я не поэт, но случалось порой, что в школьной стенгазете помещали мои стишки. Вот и теперь я достал из-за голенища блокнот и сразу, вроде бы с разбегу, написал первые напросившиеся на бумагу слова:

Лежит за Курдайским нагорьем
Веками нехоженый край,
Провьюженный снегом метельным,
Иссушенный зноем предельным —
Далекий степной Анархай.
Но быть суждено, я то знаю —
Тот день недалек, он в пути, —
Роскошной страной Анархаю,
Просторам полынной степи!

Я не думал о том, что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчало другое: они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сделать, как найти те единственно верные слова, чтобы выска-

зать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся.

— Любовные писульки сочиняешь! — злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону.— Хочешь девку стихами пронять?..

— Отдай! — подскочил я к нему в негодовании.— Не хорошо читать чужое!

— А ты мне не указ: хорошо, нехорошо! У меня свое хорошо! Отцепись!

— Ах, так! — Я подбежал к трактору и схватил отвертку.

— Ну-ну! — пригрозил мне Абакир.— На, ерунда какая-то.— Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь.— Страна Анархай! Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик. Вот таких только, как ты, и надо пригонять сюда, чтоб вы узнали что почем!.. Выдумал — страна Анархай! Ха-ха-ха! Она еще покажет тебе, какая она есть страна! Останься тут на зиму — по-другому запоешь...

— А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет! Ты лучше о себе подумай!

— А что мне думать? — Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня.— Моя думка со мной. Я везде свое возьму — Он отошел было от меня, но, вспомнив о чем-то, приостановился, подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом: — А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней, не рассчитывай... Пришибу!

— Это мы еще посмотрим!

— А я тебе говорю, чтоб и думать не смел.

Мне стало вдруг даже жалко этого зарвавшегося человека, обалдевшего от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Я сказал ему спокойно:

— Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи. Но это, видно, случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить.

Не знаю, подействовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся, надо было снова приниматься за работу...

С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их, я снова обрел на них право. И они уже не покидали меня, они жили со мной.

Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда, хотелось побыть в одиночестве.

Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй что и все, висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом округлом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде — хоть черпай их и выбрасывай огненными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода застыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе, и я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир.

Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя ночную затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них, с кем бы поделиться? Трудно объяснить, почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои волнения. Может, это было оттого, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его Верблюжьим глазом?

Где она сейчас, знает ли, что я думаю о ней? Скоро мы закончим пахоту, и тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет,— засмеет еще! — расскажу просто, обыкновенными словами, так, как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи.

Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались всему, что было доступно зрению. Но на пригорке, как всегда, стояла, смутно темнея, бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вперив вдаль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза.

Взошла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клина. Это были джейраны — степные косули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю

поля и остановились как вкопанные, не осмеливаясь вступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю. Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец — с ветвистыми рожками и самка — пониже в холке, с крупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинув легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх: «Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила разворотила землю?»

Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах грустный отсвет лунного серебра.

Я посидел еще немного, чтобы джейраны могли спокойно удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал впотьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами.

И тут я услышал шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать что.

— Ну перестань, хватит,— сонно пробормотал Абакир.— Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два... Чего зря убиваться?

Калипа ответила с горечью:

— Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя, презираю... За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла, не пойму... Хоть что-нибудь хорошее сделал ты людям? Нет же, как собака привязалась...

— Жалеть не будешь. Кончим работу — увезу.

— Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь. И все-таки поеду. Не хочу одна оставаться...

— Да тише ты! Ложись поближе. Ну, давно бы так, а то... Намочила вон всю подушку.

Я укрылся с головой. Хотелось поскорее уснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.

5

Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаще стал наведываться Сорокин. Надо было спешить — сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять, столько же оставалось работы сеяльщикам.

Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и лощинам. Он не просто знал ее — она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки.

Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархае в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться.

Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечтами. Я ждал дня, когда пойду к чабанам, в урочище за холмом, и разыщу там девушку с челочкой.

В эти дни мы начали распахивать новый большой клин. Всегда приятно приступать к чему-то новому, когда ты занят желанным, приносящим удовлетворение делом. Еще в школе я любил писать с новой строки, на новой чистой страничке. Я любил бегать утром по нетронутому снегу, первым оставляя следы. Я любил ходить весной в предгорья за первыми, еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манящее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и несорванным тюльпаном.

Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подо мной режут первую борозду. Настойчиво врезаясь в толщу земли, отполированные до нестерпимого блеска лемеха мягко и легко отваливали пласты.

Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнуло огнем в зеркале лемеха и сразу юркнуло в борозду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было что-то такое красивое, я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул:

— Золото!

Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю.

— Ты что там нашел?

— Золото! Смотри, Абакир, золото!

Он направился ко мне сначала медленно, а потом заспешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь.

— А ну! — Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее о рукав. — Да откуда ему быть здесь, золоту? — проговорил он подавленным голосом, бледнея при этом, как от внезапно нахлынувшего страха. — Не может быть, — с усилием усмехнулся он, выколупывая ногтем землю из лазубринок, и, не глядя мне в глаза, с иным неудовольствием вернул обломок.

— А почему бы нет! — запальчиво возразил я. — Смотри, какой тяжелый, в нем граммов восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло попасть и сюда! — Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка оказалась золотом. Увлеченный этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя, и ошеломленного, ошарашенного Абакира. — Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Другой металл давно бы съела ржавчина, а это сохранилось, потому что чистое золото. Тут, на Анархае, когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут бывали побоища! Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок и есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам — видишь, как удобно держать.

Абакир взял обломок, подержал его, взвесил на руке.

— Хоть и не золото, а надо показать знающим людям, просто для интересу! — Он положил обломок в карман. — Ты его можешь выронить с плуга-то. Пусть у меня полежит.

— Ну ладно, — согласился я.

Абакир пошел к трактору, поглаживая отяжелевший карман.

Мы двинулись дальше. Я думал о том, как отвезу свою находку учителю Алдиярову на память. У него собрано много таких вещиц. И он, конечно, расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня донимало неравномерное движение трактора. Как-то странно вел сейчас Абакир машину: то нерешительно замедлял ход, то рвал

с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным, чадным облаком на пашню, лез под плуг и лемеха.

Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. Абакир несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор.

— Иди сюда! — Он махнул мне рукой.

Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бегали. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора:

— Докричаться не было сил. Ты иди установи рычаги, а потом возвращайся, садись поводи сам немного. Нездоровится мне, плохо что-то. Я пройдусь по воздуху, может, полегчает...

— Иди, иди! — ответил я.

Пока я сбегал к плугу и вернулся, Абакир уже сошел на землю. Он весь как-то сразу потускнел, точно бы слинял. Молча побрел он в сторону, сильно ссутулившись.

«Да он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверное, неладно, вон как схватило»,— подумал я и, включив сцепление, тронул трактор с места.

Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвластен моей воле. Как и каждый раз, я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. «Еще два круга, надо включить фары»,— подумал я, вглядываясь перед собой. Впереди, вдоль косогора, кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и привстал на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты.

— Абаки-ир! — крикнул я.— Абаки-ир!

Он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор, чтобы было слышнее.

— Абаки-ир! Где ты? Отзовись! — кричал я в степь.

Но затененные, предвечерние увалы молчали.

А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться.

Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалил седловину, огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира, уходящего по равнине. Он был уже далеко.

— Абакир! Куда ты? — кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю.

Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе бледными пятнами меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины.

Я шел смятенный и растерянный. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся, грустная тишина. Словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастным золотом, он голову потерял... Нет. Такие голову не теряют! Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы стращал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел, со всеми перессорился, передрался. А Калипа? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему, беременная, с ее любовью! И все-таки за неделю до получки он бы не убежал. А так, что ему — вчера получил денежки, и немалые, он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе, значит, задарма немного поработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом...

Мои думы прервал голос Калипы:

— Абаки-ир! Кемель! Где вы?

Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы.

— Куда вы подевались? — тревожно встретила меня Калипа. — Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет!

Что было мне ответить ей? Сказал правду:

— Абакир ушел. Бросил работу.

— А... почему... зачем? — запинаясь, спросила она.

— Не знаю.

Про золото я молчал, мне было стыдно за Абакира.

— Значит, ушел?.. — Помолчав, она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю.— Зачем же вожу я эту воду? — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь.

Я понес бидон к радиатору, а Калипа прислонилась лицом к кабине и горько заплакала.

Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее.

— Может, еще вернется,— неуверенно пробормотал я, обернувшись к Калипе.

— Да не о нем я,— всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо.— Верила, мечтала! А во что верила? О чем мечтала? — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи ей отозвалось стонущее эхо.— Думала, парень работящий, думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить... Лошадь тоже работает, а только человек — он и есть человек, душа в нем прежде всего. Тогда и работа — счастье, тогда и делу есть смысл. . А он, он не понял ничего. Какой был, такой и ушел. Обидно мне, если бы кто знал, ох, как обидно!

Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калипу, больно за нее. Не понимал я, как могла она полюбить такого человека... Но если бы Абакир знал, если бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калипы, то не она, а он завыл бы, как волк в зимнюю стужу.

Калипа села в повозку и молча уехала.

Спокойно спала Анархайская степь. Откуда-то издали, колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся понизу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к товарняку?.. Ну и катись, сволочь, туда тебе и дорога! Не пропадет Анархай, и мы без тебя обойдемся...

Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая ночную тьму. Я сел в кабину и включил фары.

Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с челочкой и чтобы она поверила мне, что будет, будет в этой дикой полынной степи прекрасная страна Анархай.

ПОСЛЕ СКАЗКИ

(Белый пароход)

1

У него были две сказки. Одна — своя, о которой никто не знал. Другая — та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой.

Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-защелкой, проскальзывающей под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окошкам.— Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, уж конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нему убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого

не случилось. А случись, кто знает,— бабка, может, и в правду не кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой... А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом...

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная,— побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки.

Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, и нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом»,— бросил он на ходу «Лежащему верблюду» — так он назвал рыжий горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина — так, небрежно, походя: ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» — наполовину белый, наполовину черный, негий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк» — очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел... Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Потому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например,— главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне не видно было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые вьюнки, хотя они тоже сорные,— самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А вьюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные... И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно, если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделывать наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали: исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами...

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки — ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра

жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и клонятся. И кланяются все, как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят... Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они...

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!

Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала во двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехали! Машина-магазин приехала!

Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на надворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой двери автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бекей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула,— и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот... Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец хмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась.

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю,— коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура,— еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же!..

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну разве это торговля! Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. (У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круг-

ная голова.) — Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет,— и помотал головой.

— А я думаю, есть,— с притворным недоверием протянул продавец.— Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги.

— Нет, дядя,— по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец.— Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да.— Мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? — шутливо попрекнул его продавец.— Ну, ладно, коли так. Держи.— Он достал горсть конфет.— И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора.

Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить его — зачем, мол, держать такую собаку. Да дед все упрашивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увести куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего: сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потру-

сит домой. Ненадежная собака. Но все бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть — все-таки собака...

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри,— предупредил он пса.— Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал — ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момуном, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени Бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходить с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко, и главное — не отлынивал, как другие. Аильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!

И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момуну хоть бы что!

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям — на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный

Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни, Момун отвечал: «Покойный был моим братом. (Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти...»

Вот такой он был, Расторопный Момун!

И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдоправом был; когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крышей двускатной ложился. В войну трудармейцем в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагодарное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым»,— а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбчивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты мне только скажи, в чем твоя нужда».

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые — вот и вся борода.

То ли дело — видишь, вдруг едет по дороге осанистый старик, а борода — как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное: чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то...) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым, решительным?..)

А Момун был не таким. Он был чудаком, и относились к нему, как к чудаку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна: позабыть пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок... Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его,— на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал,— а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.

— Ассалам-алейкум, большой купец! — сказал он полушутя-полусерьезно.— В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — Весь сияя, Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой,

потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа,— отвечал Момуну:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой,— смущенно извинялся Момун.— Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку...

— Сказывай! — перебил его продавец.— Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать — жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна...

— Ей-богу, нет таких денег,— оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?

— Ей-богу, нет, клянусь Рогатой матерью-оленихой!

— Ну возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой...

— Э-э, да что с тобой толковать! — махнул рукой продавец.— Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.

— Гостит, стало быть,— понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый,— снова заговорил Момун.— Осенью, бог даст, продадим картошку...

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал,— отказался продавец.

Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать за машиной:

— Ну купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника, и внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь,— засуетился Момун,— я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда,— позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.

Давно она, наверно, была у него, слежалась уже.

— Держи, ушастый.— Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. — Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смышленый,— отозвался Момун, пересчитывая сдачу.

Потом глянул на внука, неловко держащего новенький портфель, прижал его к себе.

— Вот и добро. Пойдешь осенью в школу,— негромко сказал он. Твердая, увесистая ладонь деда мягко прикрыла голову мальчика.

И тот почувствовал, как вдруг сильно сдавило горло, и остро ощутил худобу деда, привычный запах его одежды. Сухим сеном и потом работящего человека пахло от него. Верный, надежный, родной, быть может единственный на свете человек, который души в мальчике не чаял, был таким вот простецким, чудаковатым стариком, которого умники прозвали Расторопным Момуном... Ну и что ж? Какой ни есть, а хорошо, что все-таки есть свой дед.

Мальчик сам не подозревал, что радость его будет такой большой. До сих пор он не думал о школе. До сих пор он только видел детей, идущих в школу,— там, за горами, в иссык-кульских селах, куда они с дедом ездили на поминки знатных бугинских стариков. А с этой минуты мальчик не расставался с портфелем. Ликуя и хвалясь, он обежал тотчас всех жителей кордона. Сначала показал бабке,— вот, мол, дед купил! — потом тетке Бекей — она тоже порадовалась портфелю и похвалила самого мальчика.

Редко когда тетка Бекей бывает в добром настроении. Чаще — мрачная и раздраженная — она не замечает своего племянника. Ей не до него. У нее свои беды. Бабка говорит: были бы у ней дети, совсем другой женщиной была бы она. И Орозкул, муж ее, тоже был бы другим человеком. Тогда и дед Момун был бы другим человеком, а не таким, какой он есть. Хотя у него были две дочери — тетка Бекей да еще мать мальчика, младшая дочь, а все равно плохо, плохо, когда нет своих де-

тей; еще хуже, когда у детей нет детей. Так говорит бабка. Пойми ее...

После тетки Бекей мальчик забежал показать покупку молодой Гульджамал и ее дочке. А отсюда пустился на сенокос к Сейдахмату. Опять бежал мимо рыжего камня «Верблюда» и опять не было времени похлопать его по горбу, мимо «Седла», мимо «Волка» и «Танка», а дальше все по берегу, по тропе через облепиховый кустарник, потом по длинному прокосу на лугу он добежал до Сейдахмата.

Сейдахмат сегодня здесь был один. Дед давно уже выкосил свою делянку, заодно и делянку Орозкула. И сено уже свезли они — бабка с теткой Бекей сгребали, Момун накладывал, а он помогал деду, подтаскивал сено к телеге. Сложили возле коровника две скирды. Дед их так аккуратно свершил, что никакие дожди не затекут. Гладкие, как гребнем очесанные скирды. Каждый год так. Орозкул сено не косит, все на тестя валит — начальник как-никак. «Захочу,— говорит,— в два счета повыгоняю вас с работы». Это он на деда и Сейдахмата. И то по пьяному делу. Деда ему не прогнать. Кто будет тогда работать? Попробуй без деда! В лесу работы много, особенно осенью. Дед говорит: «Лес не отара овец, не разбредется. Но присмотру за ним не меньше. Потому как пожар случится или с гор паводок ударит — дерево не отскочит, не сойдет с места, погибнет где стоит. Но на то лесник, чтобы дерево не пропадало». А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный. Ни во что не вмешивается, не спорит. Но хотя он парень смирный и здоровый, а ленивый, поспать любит. Потому и прибился в лесничество. Дед говорит: «Такие парни в совхозе машины гоняют, на тракторах пашут». А Сейдахмат на огороде своем картошку зарастил лебедой. Пришлось Гульджамал с ребенком на руках самой управляться с огородом.

И с началом покоса Сейдахмат затянул. Позавчера дед заругался на него. «Зимой прошлой,— говорит,— не тебя мне жалко стало, а скотину. Оттого поделился сеном. Если опять рассчитываешь на мое стариковское сено, то сразу скажи, я за тебя накошу». Проняло, с утра сегодня махал Сейдахмат косой.

Заслышав за спиной быстрые шаги, Сейдахмат обернулся, утерся рукавом рубашки.

— Ты чего? Зовут меня, что ли?

— Нет. У меня портфель. Вот. Дед купил. Я в школу пойду.

— Из-за этого и прибежал? — Сейдахмат хохотнул.— Дед Момун такой,— повертел он пальцем возле виска,— и ты туда же! А ну, что за портфель? — Он пощелкал замочком, покрутил портфель в руках и вернул, насмешливо покачивая головой.— Постой,— воскликнул он,— в какую же школу ты пойдешь? Где она, твоя школа-то?

— Как в какую? В ферменскую.

— Это в Джелесай ходить? — подивился Сейдахмат. — Так туда через гору километров пять, не меньше.

— Дед сказал, будет на лошади меня возить.

— Каждый день туда-сюда? Чудит старик... В пору ему самому в школу поступать. Посидит с тобой на парте, кончатся уроки — и назад! — Сейдахмат покатывался со смеху. Очень ему смешно стало, когда представил себе, как дед Момун сидит с внуком за школьной партой.

Мальчик озадаченно молчал.

— Да я это так, для смеха! — объяснил Сейдахмат.

Он небольно щелкнул мальчика по носу, надвинул ему на глаза козырек дедовской фуражки. Момун не носил форменную фуражку лесного ведомства, стыдился ее. («Что, я начальник какой-нибудь? Я свою киргизскую шапку ни на какую другую не променяю».) И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-колпак — белый колпак, отороченный черным облезлым сатином по полям, а зимой — тоже допотопный — овчинный тебетей. Зеленую форменную фуражку лесного рабочего он давал носить внуку.

Мальчику не понравилось, что Сейдахмат так насмешливо принял новость. Он хмуро поднял козырек на лоб и, когда Сейдахмат еще раз хотел щелкнуть его по носу, отдернул голову и огрызнулся:

— Не приставай!

— Ох ты, сердитый какой! — усмехнулся Сейдахмат.— Да ты не обижайся. Портфель у тебя что надо! — И потрепал его по плечу.— А теперь валяй. Мне еще косить и косить...

Поплевав на ладони, Сейдахмат снова взялся за косу.

А мальчик бежал домой опять по той же тропке и опять бегом мимо тех же камней. Некогда пока было забавляться с камнями. Портфель вещь серьезная.

Мальчик любил разговаривать сам с собою. Но в этот раз он сказал не себе — портфелю: «Ты не верь ему, дед у меня вовсе не такой. Он совсем нехитрый и потому над ним смеются. Потому что он совсем нехитрый. Он нас с тобой будет возить в школу. Ты еще не знаешь, где школа? Не так уж далеко. Я тебе покажу. Мы посмотрим на нее в бинокль с Караульной горы. И еще я тебе покажу мой белый пароход. Только сперва мы забежим в сарай. Там у меня спрятан бинокль. Мне бы надо смотреть за теленком, а я каждый раз убегаю смотреть на белый пароход. Теленок у нас уже большой — как потащит, не удержишь его,— а вот взял себе привычку высасывать молоко у коровы. А корова — его мать, и ей не жалко молока. Понимаешь? Матери никогда ничего не жалеют. Это Гульджамал так говорит, у ней своя девочка... Скоро корову будут доить, а потом мы погоним теленка пастись. И тогда мы полезем на Караульную гору и увидим с горы белый пароход. Я ведь с биноклем тоже так разговариваю. Теперь нас будет трое — я, ты и бинокль...»

Так он возвращался домой. Ему очень понравилось разговаривать с портфелем. Он собирался продолжить этот разговор, хотел рассказать о себе, чего еще не знал портфель. Но ему помешали. Сбоку послышался конский топот. Из-за деревьев выехал всадник на сером коне. Это был Орозкул. Он тоже возвращался домой. Серый конь Алабаш, на котором он никому, кроме себя, не разрешал ездить, был под выездным седлом с медными стременами, с нагрудным ремнем, со звякающими серебряными подвесками.

Шляпа Орозкула сбилась на затылок, обнажив красный, низко заросший лоб. Его разбирала дрема на жаре. Он спал на ходу. Вельветовый китель, не очень умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка на животе выбилась из-под пояса. Он был сыт и пьян. Совсем еще недавно сидел в гостях, пил кумыс, ел мясо до отвала.

С приходом в горы на летние выпасы окрестные чабаны и табунщики частенько зазывали Орозкула к себе. Были у него старые друзья-приятели. Но зазывали и с расчетом. Орозкул — нужный человек. Особенно для тех, кто строит дом, а сам сидит в горах; стадо не бросишь, не уйдешь, а стройматериалы где сыщешь? И в первую очередь лес. А угодишь Орозкулу — смотришь,

из заповедного леса два-три бревна на выбор и увезешь. А нет, так будешь скитаться со стадом в горах, и дом твой век будет строиться...

Подремывая в седле, отяжелевший и важный Орозкул ехал, небрежно упираясь носками хромовых сапог в стремена.

Он чуть было не слетел с лошади от неожиданности, когда мальчик побежал ему навстречу, размахивая портфелем:

— Дядя Орозкул, у меня портфель! Я пойду в школу. Вот у меня портфель!

— О, чтоб тебя! — испуганно натягивая поводья, выругался Орозкул.

Он глянул на мальчика красными спросонья, набухшими, пьяными глазами:

— Ты чего, откуда?

— Я домой. У меня портфель, я показывал его Сейдахмату,— упавшим голосом сказал мальчик.

— Ладно, играй,— буркнул Орозкул и, неуверенно покачиваясь в седле, поехал дальше.

Какое ему было дело до этого дурацкого портфеля, до этого брошенного родителями мальчишки, племянника жены, если сам он был так обижен судьбой, если бог не дал ему сына собственного, своей крови, в то время как другим дарит детей щедро, без счета?..

Орозкул засопел и всхлипнул. Жалость и злоба душили его. Жалко ему было, что жизнь пройдет без следа, и разгоралась в нем злоба к бесплодной жене. Это она, проклятая, вот уже сколько лет ходит порожняя...

«Уж я тебе!» — мысленно пригрозил Орозкул, сжимая мясистые кулаки, и сдавленно застонал, чтобы не заплакать в голос. Он знал уже, что приедет и будет бить ее. Так случалось всякий раз, когда Орозкул напивался; этот быкоподобный мужик одуревал от горя и злобы.

Мальчик шел по тропинке следом. Он удивился, когда вдруг впереди Орозкул исчез. А тот, свернув к реке, слез с лошади, бросил поводья и пошел сквозь высокую траву напролом. Он шел, качаясь и сгибаясь. Он шел, сжимая руками лицо, вобрав голову в плечи. У берега Орозкул опустился на корточки. Пригоршнями хватал воду из реки и плескал себе в лицо.

«Наверно, у него голова разболелась от жары»,— решил мальчик, увидев, что делает Орозкул. Он не знал, что Орозкул плакал и никак не мог остановить рыда-

бой. Плакал оттого, что не его сын выбежал ему навстречу, и оттого, что не нашел в себе чего-то нужного, чтобы сказать хоть несколько человеческих слов этому мальчику с портфелем.

2

С макушки Карауцкой горы открывался вид во все стороны. Лежа на животе, мальчик примерял бинокль с рывками. Это был сильный полевой бинокль. Когда-то им премировали деда за долгую службу на кордоне. [illegible] не любил возиться с биноклем: «У меня свои глаза не хуже». Зато внук его полюбил.

В этот раз он пришел на гору и биноклем и с портфелем.

Вначале предметы прыгали, смещались в круглом окошке, затем вдруг обретали четкость и неподвижность. Это было интересней всего. Мальчик затаивал дыхание, чтобы не нарушать найденный фокус. Потом он нерешительно нацеливал на другую точку — и снова все смещалось. Мальчик снова принимался крутить окуляры.

Отсюда ему было видно. И самые высокие снежные вершины, выше которых только небо. Они стояли позади всех гор, над всеми горами и над всей землей. И те горы, что пониже снежных,— лесистые горы, поросшие понизу лиственными чащами, а поверху темным сосновым бором. И горы Кунгей, обращенные к солнцу; на склонах Кунгея ничего не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро,— просто голые каменистые увалы. Увалы спускались в долину, а долина смыкалась с озером. В этой же стороне лежали поля, [illegible], селения... Сквозь зелень посевов уже проступала разводьями желтизна — близилась жатва. Как мыши, бегали по дорогам крошечные автомашины, а за ними вились длинные пыльные хвосты. И на самом дальнем краю земли, куда только достигал взор, за песчаной прибрежной полосой густо синела выпуклая кривизна озера. То был Иссык-Куль. Там вода и небо соприкасались. И дальше ничего не было. Озеро лежало неподвижно, синющее и пустынное. Лишь чуть заметно шевелилась у берега белая пена прибоя.

Мальчик долго смотрел в эту сторону. «Белый пароход не появился,— сказал он портфелю.— Давай еще раз посмотрим на нашу школу».

Отсюда хорошо видна была вся соседняя лощина за горой. В бинокль можно было разглядеть даже пряжу в руках старушки, сидевшей подле дома, под окном.

Лощина Джелесай была безлесной, лишь кое-где остались после порубок старые одинокие сосны. Когда-то был здесь лес. Теперь стояли рядами скотные дворы под шиферными крышами, виднелись большие черные кучи навоза и соломы. Здесь выращивали племенной молодняк молочной фермы. Тут же, неподалеку от скотных дворов, примостилась куцая улочка — поселок животноводов. Улочка спускалась с пологого пригорка. На самом краю ее стоял маленький дом, нежилой на вид. Это и была школа-четырехлетка. Ребята старших классов уезжали учиться в совхоз, в школу-интернат. А в этой учились малыши.

Мальчик бывал в поселке с дедом у фельдшера, когда болело горло. Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной надписью на фанерной вывеске: «Мектеп». Он не умел читать, но догадался, что написано именно это слово. В бинокль все было видно до мельчайших, неправдоподобно мелких подробностей. Какие-то слова, нацарапанные по штукатурке стены, подклеенное стекло в оконной шибке, погорбившиеся, щербатые доски веранды. Он представил себе, как он придет сюда со своим портфелем и шагнет в ту дверь, на которой сейчас висел большой замок. А что там, что будет там, за этой дверью?

Кончив рассматривать школу, мальчик снова направил бинокль на озеро. Но там все было по-прежнему. Белый пароход еще не показывался. Мальчик отвернулся, сел спиной к озеру и стал смотреть вниз, под гору, отложив бинокль в сторону. Внизу, прямо под горой, по дну продолговатой лощины, серебрилась бурная, порожистая река. Вместе с рекой вилась берегом дорога, и вместе с рекой дорога скрывалась за поворотом ущелья. Противоположный берег был обрывистый и лесистый. Отсюда и начинался Сан-Ташский заповедный лес, уходящий высоко в горы, под самые снега. Выше всех взбирались сосны. Среди камней и снега топорщились они темными щеточками на гребнях горных цепей.

Мальчик насмешливо рассматривал дома, сараи и пристройки во дворе кордона. Маленькими, утлыми казались они сверху. За кордоном дальше по берегу он различил свои знакомые камни. Все их — «Верблюд»,

«Волк», «Седло», «Танк» — он впервые разглядел отсюда, с Караульной горы, в бинокль, тогда же дал им названия.

Мальчик озорно улыбнулся, встал и запустил в сторону двора камень. Камень упал тут же, на горе. Мальчик снова сел на место и принялся разглядывать кордон в бинокль. Сначала через большие линзы в меньшие — дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено. Мальчик усмехнулся, покрутил головой и, быстро перевернув бинокль, подвел окуляры. Его любимые валуны, увеличенные до громадных размеров, казалось, уперлись лбами в стекла бинокля. «Верблюд», «Волк», «Седло», «Танк» были такие внушительные: в зазубринах, в трещинах, с пятнами ржавых лишаев по бокам; и главное — действительно очень были похожи на то, что увидел в них мальчик. «Ух ты, «Волк» какой! А «Танк», вот это да!..»

За валунами на отмели была дедова запруда. В бинокль хорошо видно это место у берега. Сюда, на широкую галечную отмель, вода забегала мимоходом с быстрины и, вскипая на перекатах, убегала снова в стремнину. Вода на отмели доходила до колен. Но течение было такое, что поток мог запросто унести в реку такого мальчика, как он. Чтобы не снесло течением, мальчик ухватывался за прибрежный тальник — куст рос на самом краю, одни ветки на суше, другие полоскались в реке — и окунался в воду. Ну что это за купание? Как конь на привязи. Да еще неприятностей сколько, ругани! Бабка выговаривала деду: «Унесет в реку, пусть пеняет на себя — пальцем не шевельну. Больно нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет».

Что ей скажешь? Старая вроде и верно говорит. Но и парнишку жалко: река ведь рядом, почти у дверей. Как ни стращала старуха, а все равно мальчик лез в воду. Вот тогда и решил Момун соорудить на отмели запруду из камней, чтобы было где мальчишке купаться без опаски.

Сколько каменьев перетаскал старик Момун, выбирая те, что покрупнее, чтобы течением их не укатило! Носил их, прижимая к животу, и, стоя в воде, укладывал один к одному с таким расчетом, чтобы вода свободно втекала между камнями и так же свободно вы-

текала. Смешной, тощий, с реденькой своей бороденкой, в мокрых, облипших на теле штанах, целый день возился он с этой запрудой. А вечером лежал пластом, кашлял, и поясницу ему было не разогнуть. Вот тут уж бабка разошлась вовсю: «Малый дурак — он и есть малый, а что про старого дурака сказать? Какого ты черта надрывался? Кормишь, поишь, так чего еще? Всякой блажи потакаешь. Ох, не доведет это до добра!..»

Как бы то ни было, а запруда на отмели получилась отличная. Теперь мальчик купался не боясь. Ухватываясь за ветку, слезал с берега и бросался в поток. И непременно с открытыми глазами. С открытыми потому, что рыбы в воде плавают с открытыми глазами. Была у него такая странная мечта: он хотел превратиться в рыбу. И уплыть.

Глядя сейчас в бинокль на запруду, мальчик представил себе, как он сбрасывает рубашку, штаны и голый, поеживаясь, лезет в воду. Вода в горных реках всегда холодная, дух занимает, но потом привыкаешь. Представил себе, как держась за ветку тальника, бросается в поток вниз лицом. Как с шумом смыкается вода над головой, как жгуче струится под животом, по спине, по ногам. Глохнут внешние звуки под водой, и в ушах остается лишь журчанье. И он, тараща глаза, старательно смотрит на все то, что можно увидеть под водой. Глаза щиплет, глазам больно, но он горделиво улыбается себе и даже язык показывает в воде. Это он бабке. Пусть знает, вовсе и не утонет он, и вовсе ничего не боится. Потом он выпускает ветку из рук, и вода тащит его, волочит до тех пор, пока он не упрется ногами в камни запруды. Тут и дыхание кончается. Он разом выскакивает из воды, вылезает на берег и снова бежит к тальниковому кусту. И так много раз. Хоть сто раз в день готов был купаться в дедовой запруде. До тех пор, пока в конце концов не превратится в рыбу. А ему обязательно, во что бы то ни стало, хотелось стать рыбой...

Разглядывая берег реки, мальчик перевел бинокль на свой двор. Куры, индюшки с индюшатами, топор, приставленный к чурбаку, дымящий самовар и разные разности на подворье оказались такими невероятно большими, так близко они находились, что мальчик невольно протянул к ним руку. И тут, к ужасу своему, он увидел в бинокль увеличенного до слоновых размеров бурого теленка, спокойно жующего развешанное на

веревке белье. Теленок жмурил от удовольствия глаза, слюни стекали с губ — так ему хорошо было в полную пасть жевать бабкино платье.

— Ах ты дурак! — Мальчик привстал с биноклем и замахал рукой.— А ну, прочь! Слышишь, убирайся прочь! Балтек, Балтек! (Пес в объективе лежал себе преспокойно под домом.) Куси, куси его! — в отчаянье приказывал он собаке.

Но Балтек и ухом не повел. Он лежал себе как ни в чем не бывало.

В эту минуту из дома вышла бабка. Увидев, что творится, старуха всплеснула руками. Схватила метлу и кинулась к теленку. Теленок побежал, бабка за ним. Не сводя с нее бинокля, мальчик присел, чтобы не видно было его на горе. Отогнав теленка, старуха с руганью подошла к дому, задыхаясь от гнева и быстрой ходьбы. Мальчик видел ее так, как если бы был рядом с ней и даже ближе, чем рядом. Он держал ее в объективе крупным планом, как в кино, когда отдельно показывают лицо человека. Он видел ее желтые глаза, сузившиеся от ярости. Он видел, как сплошь покраснело ее морщинистое, в тяжелых складках лицо; как в кино, когда исчезнет вдруг звук, бабкины губы в бинокле быстро и беззвучно шевелились, обнажая ее щербатые, редкие зубы. Что выкрикивала старуха, не разобрать было издали, но слова ее мальчику слышались так точно и ясно, как если бы говорила она прямо под ухом. Ух, как она его бранила! Он наизусть знал: «Ну подожди... Вернешься. Уж я тебе! И на деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход, чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Мальчик на горе тяжко вздохнул. Надо же было в такой день, когда купили портфель, когда он уже мечтал, как пойдет в школу, проглядеть телка!..

Старуха не умолкала. Продолжая браниться, она разглядывала свое изжеванное платье. К ней вышла Гульджамал с дочкой. Жалуясь ей, бабка разошлась еще больше. Потрясала кулаками в сторону горы. Ее костлявый, темный кулак угрожающе маячил перед окулярами: «Нашел себе забаву. Чтоб провалился он, чертов пароход! Чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..»

Самовар на дворе уже кипел. Видно было в бинокль, как из-под крышки выбивались струи пара. Тетка Бекей вышла за самоваром. И тут опять началось. Бабка чуть

не в нос совала ей свое изжеванное платье. На, мол, смотри на проделки твоего племянничка!

Тетка Бекей стала успокаивать ее, уговаривать. Мальчик догадывался, что она говорила. Примерно то же, что и прежде: «Успокойтесь, энеке[1]. Мальчик еще несмышленыш — какой с него спрос? Один он тут, друзей нет. Зачем кричать, зачем страх наводить на ребенка?»

На что бабка, несомненно, отвечала: «Ты мне не указывай. Ты сама попробуй роди, тогда узнаешь, какой спрос с детей. Чего торчит он там, на горе? Телка приарканить ему некогда. Чего он там высматривает? Своих непутевых родителей? Тех, что родили его да разбежались по разным сторонам? Хорошо тебе, бесплодной...»

Даже на таком расстоянии мальчик увидел в бинокль, как мертвенно посерели впалые щеки тетки Бекей, как вся она заколотилась и как — он точно знал, чем должна была отплатить тетка,— она выпалила в лицо мачехе: «А ты сама-то, старая ведьма, сколько сыновей да дочерей вырастила? Ты сама-то кто есть?»

Что тут началось!.. Бабка взвыла от обиды. Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести ее домой, но та распалялась все больше, мечась по двору, как обезумевшая. Тетка Бекей схватила кипящий самовар, расплескивая кипяток, почти бегом унесла его в дом. А бабка устало опустилась на колоду. Рыдая, горько жаловалась она на свою судьбу. Теперь мальчик был позабыт, теперь доставалось самому господу богу и всему белому свету. «Это я-то! Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? — возмущалась бабка вслед падчерице.— Да если бы не наказал меня бог, если бы не унес он моих пятерых младенцев, если бы сын мой, один-единственный, не упал восемнадцати лет под пулей на войне, если бы старик, мой ненаглядный Тайгара, не замерз в буране с отарой овец, разве была бы я здесь, среди вас, лесных людей? Да разве я такая, как ты, неродящая? Да разве жила бы я на старости лет с отцом твоим, придурковатым Момуном? За какие грехи-провинности наказал ты меня, распроклятый бог?»

Мальчик отнял бинокль от глаз, печально опустил голову.

«Как мы теперь вернемся домой? — тихо сказал он

---

[1] Энеке — матушка.

портфелю.— Это все из-за меня и из-за теленка-дурака. И еще из-за тебя, бинокль. Ты всегда зовешь меня смотреть на белый пароход. Ты тоже виноват».

Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы — скалы, камни, леса. С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие горы.

Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так жарко. На восточных склонах занялись первые короткие тени. Солнце будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход.

Мальчик направил бинокль к самому дальнему видимому месту и затаил дыхание. Вот он! И все забылось сразу; там, впереди, на синей-синей кромке Иссык-Куля, появился белый пароход. Выплыл. Вот он! С трубами в ряд, длинный, мощный, красивый. Он плыл, как по струне, ровно и прямо. Мальчик поспешно протер стекла подолом рубашки, еще раз поправил окуляры. Очертания парохода стали еще четче. Теперь можно было заметить, как покачивается он на волнах, как за кормой остается светлый вспененный след. Не отрываясь, мальчик с восхищением смотрел на белый пароход. Была бы на то его воля, он упросил бы белый пароход подплыть поближе, чтобы можно было видеть людей, которые на нем плыли. Но пароход не знал об этом. Он медленно и величественно шел своей дорогой, неведомо откуда и неведомо куда.

Было долго видно, как плывет пароход, и мальчик долго думал о том, как он превратится в рыбу и поплывет по реке к нему, к белому пароходу...

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец — иссык-кульский матрос — плавает именно на этом белом пароходе. И мальчик поверил в это, потому что ему этого очень хотелось.

Он не помнил ни отца, ни матери. Он ни разу не видел их. Никто из них ни разу не навестил его. Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле,

а мать, после того как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами.

Дед Момун как-то ездил в этот город продавать картошку. Целую неделю пропадал и, вернувшись, рассказывал за чаем тетке Бекей и бабке, что видел свою дочь, то есть его, мальчика, мать. Работала она на какой-то большой фабрике ткачихой. У нее новая семья — две дочери, которых она сдает в детсад и видит только раз в неделю. Живет в большом доме, но в маленькой комнатке, до того маленькой, что повернуться негде. А во дворе никто никого не знает, как на базаре. И все так живут — войдут к себе и сразу двери на замок. Взаперти постоянно сидят, как в тюрьме. А муж ее будто бы шофер, возит в автобусе народ по улицам. Уходит с четырех утра и допоздна. Тоже работа тяжелая. Дочь, рассказывал он, все плакала, прощения просила. На очереди они на новую квартиру. Когда получат — неизвестно. Но когда получат, заберет сынишку к себе, если муж позволит. И просила старика пока подождать. Дед Момун сказал ей, чтобы она не печалилась. Самое главное, чтобы с мужем в согласии жила, остальное уладится. И насчет сына пусть не убивается. «Пока я жив, мальчишку никому не отдам, а умру — бог его поведет, живой человек найдет свою судьбу...» Слушая старика, тетка Бекей и бабка то и дело вздыхали и даже всплакнули вместе.

Вот тогда как раз, за чаем, и об отце зашла у них речь. Дед прослышал, будто его бывший зять, отец мальчика, все так же матросом служит на каком-то пароходе и что у него тоже новая семья, дети, то ли двое, то ли трое. Живут возле пристани. Будто бы бросил он пить. А жена новая всякий раз выходит с ребятишками на пристань его встречать. «Стало быть,— думал мальчик,— они встречают вот этот, его пароход...»

А пароход плыл, медленно удаляясь. Белый и длинный, он скользил по синей глади озера с дымами из труб и не знал, что к нему плыл мальчик, превратившись в рыбу-мальчика.

Он мечтал превратиться в рыбу так, чтобы все у него было рыбье — тело, хвост, плавники, чешуя,— и только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными ушами, с исцарапанным носом. И глаза такие же, какие были. Конечно, чтобы они

при этом были не совсем такие, как есть, а глядели, как рыбьи. Ресницы у мальчика длинные, как у телка, и все время хлопают отчего-то сами по себе. Гульджамал говорит — вот бы ее дочке такие, какой бы она красавицей выросла! А зачем быть красавицей? Или красавцем? Очень нужно! Лично ему красивые глаза ни к чему, ему нужны такие, чтобы под водой глядеть.

Превращение должно было произойти в дедовой запруде. Раз — и он рыба. Затем он сразу перепрыгнул бы из запруды в реку, прямо в бурлящую стремнину, и пошел бы вниз по течению. И дальше так — выпрыгивая и оглядываясь по сторонам; неинтересно ведь плыть только под водой. Он несется по быстрой реке вдоль большого красноглинистого обрыва, через пороги, по бурунам, мимо гор, мимо лесов. Он прощается со своими любимыми валунами: «До свидания, „Лежащий верблюд", до свидания, „Волк", до свидания, „Седло", до свидания, „Танк"». А когда будет проплывать мимо кордона, он выпрыгнет из воды, помашет плавником деду: «До свидания, ата, я скоро вернусь». Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. И бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал с дочкой — все стояли бы разинув рты. Где это видано, чтобы голова была человечья, а тело рыбье? А он им машет плавником: «До свидания, я уплываю в Иссык-Куль, к белому пароходу. Там у меня мой папа-матрос». Балтек, наверно, кинется бежать по берегу. Собака ведь никогда такого не видела. И если Балтек решится броситься к нему в воду, он крикнет: «Нельзя, Балтек, нельзя! Утонешь!» — а сам поплывет дальше. Пронырнет под тросами висячего моста и дальше вдоль прибрежных тугаев, и потом вниз по грохочущему ущелью выплывает прямо в Иссык-Куль.

А Иссык-Куль — это целое море. Проплывает он по волнам иссык-кульским, с волны на волну, с волны на волну — и тут навстречу белый пароход. «Здравствуй, белый пароход, это я! — скажет он пароходу.— Это я всегда смотрел на тебя в бинокль». Люди на пароходе удивились бы, сбежались смотреть на чудо. И тогда он скажет отцу своему, матросу: «Здравствуй, папа, я твой сын. Я приплыл к тебе».— «Какой же ты сын? Ты полурыба-получеловек!» — «А ты возьми меня к себе на пароход, и я стану твоим обыкновенным сыном».— «Вот здорово! А ну, попробуем». Отец бросит сеть, выловит

его из воды, поднимет на палубу. Тут он превратится в самого себя. А потом, потом...

Потом белый пароход поплывет дальше. Расскажет мальчик отцу про все, что знает, про всю свою жизнь. Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами...

Расскажет, конечно, как ему живется у деда Момуна. Пусть отец не думает, что если прозвали человека Расторопный Момун, так, значит, он плохой. Такого деда нигде нет, самый лучший дедушка. Но он совсем не хитрый, потому все смеются над ним. А дядя Орозкул так тот и покрикивает на него — на старика! Бывает, и при людях накричит на деда. А дед, вместо того чтобы постоять за себя, все прощает дяде Орозкулу и даже работает за него в лесу, по хозяйству. Да что там, работает! Когда дядя Орозкул приезжает пьяный, так, вместо того чтобы плюнуть в его бессовестные глаза, дед подбегает к нему, ссаживает с лошади, отводит в дом, укладывает на кровать, шубой укрывает, чтобы не продрог, чтобы голова у него не болела, а коня расседлывает, чистит и задает ему корм. И все из-за того, что тетка Бекей неродящая. А почему так, папа? Было бы лучше: хочешь — роди, не хочешь — не надо. Деда жалко, когда дядя Орозкул бьет тетку Бекей. Лучше бы он бил самого деда. Так он мучается, когда кричит тетка Бекей. А что он может сделать? Хочет кинуться на выручку дочери, так бабка ему запрещает. «Не лезь,— говорит,— сами разберутся. Чего тебе, старому? Жена не твоя, ну и сиди». — «Так ведь дочь она моя!» А бабка: «А что бы ты делал, если б жил не рядом, дом к дому, а вдалеке? Каждый раз скакал бы верхом разнимать их? И кто бы после этого держал в женах твою дочь!»

Бабка, про которую говорю,— это не та, которая была. Ты ее, папа, наверно, и не знаешь. Это другая бабка. Родная бабушка умерла, когда я был маленький. А потом пришла эта бабка. У нас часто бывает погода непонятная — то ясно, то пасмурно, то дождь да град. Вот и бабка такая, непонятная. То добра, то зла, то совсем никакая. Когда злится — заест. Мы с дедом молчим. Она говорит, что чужого сколько ни корми, сколько ни пои, а добра от него не жди. Так ведь я же, папа, не чужой здесь. Я всегда жил с дедом. Это она чужая, она потом пришла к нам. И стала называть меня чужим.

Зимой у нас снега наваливает мне по шейку. Ох и

сугробы наметает. Если в лес, только на сером коне Алабаше и проедешь, он грудью пробивает сугробы. И ветры очень сильные; на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, когда пароход твой валится с боку на бок,— знай, что наш ветер Сан-Таш качает озеро. Дед рассказывал, что очень-очень давно вражеские войска шли, чтобы захватить эту землю. И вот тогда с нашего Сан-Таша такой ветер подул, что враги не усидели в седлах. Послезали с коней, но и пешком идти не могли. Ветер сек им лица в кровь. Тогда они отвернулись от ветра, а ветер гнал их в спины, не давал остановиться и выгнал их с Иссык-Куля всех до одного. Вот как было. А мы вот живем на этом ветру! От нас он начинается. Всю зиму лес за рекой скрипит, гудит, стонет на ветру. Страшно даже.

Зимой в лесу дел не так много. Зимой безлюдно у нас совсем, не то что летом, когда приходят кочевья. Очень люблю я, когда летом на большом лугу останавливаются на ночь с отарами или табунами. Правда, утром они уходят дальше в горы, но все равно хорошо с ними. Их ребятишки и женщины приезжают на грузовиках. В грузовиках юрты везут и разные вещи. Когда устроятся немного, мы с дедом идем поздороваться. Здороваемся со всеми за руку. И я тоже. Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед говорит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень добрый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет счастливым на всю жизнь. А я говорю: если так, то почему этот пророк не скажет, что он пророк, и мы все поздоровались бы с ним за руку. Дед смеется: в том-то и дело, говорит он, что пророк сам не знает, что он пророк,— он простой человек. Только разбойник знает о себе, что он разбойник. Не совсем мне это понятно, но я всегда здороваюсь с людьми, хотя мне бывает немного стыдно.

А когда на луг мы приходим с дедом, я не стесняюсь.

«Добро пожаловать на летовки отцов и прадедов! В благополучии ли скот и души, в благополучии ли детвора?» — это дед так говорит. А я только здороваюсь за руку. Деда все знают, и он всех знает. Ему хорошо. У него свои разговоры, он расспрашивает приезжих и сам рассказывает, как мы живем. А я с ребятами не знаю, о чем говорить. Но потом мы начинаем играть в прятки, в войну — и так разыграемся, что не хочется

уходить. Вот если бы всегда было лето, если бы всегда играть с ребятами на лугу!

Пока мы играем, загораются костры. Ты думаешь, папа, от костров становится совсем светло на лугу? Вовсе нет! Только у огня светло, а за кругом света темнее прежнего. А мы играем в войну, в этой тьме прячемся и наступаем; и кажется, что находишься в самом кино. Если ты командир, все тебя слушаются. Хорошо, наверно, командиру быть командиром...

А потом луна выходит над горами. При луне играть еще лучше, но дед уводит меня. Мы идем домой через луг, через кустарник. Овцы тихо лежат. Лошади пасутся вокруг. Мы идем и слышим— кто-то песню запевает. Чабан молодой, а может быть, и старый. Дед останавливает меня: «Слушай. Такие песни не всегда услышишь». Мы стоим, слушаем. Дед вздыхает. Кивает песне головой.

Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь, будешь жить у меня рабом, или я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня, но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха».— «Зачем он тебе?» — «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: за родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди, увидеть бы их. Наверно, живут в больших городах?

«А слушать хорошо, а! — шепчет дед.— Какие песни пели, бог ты мой!..»

Не знаю почему, мне становится так жаль моего деда, и я так люблю его, что хочется плакать...

Рано утром на лугу уже никого нет. Угнали овец и лошадей дальше, в горы, на все лето. Вслед за ними приходят другие кочевья, из других колхозов. Днем не задерживаются, проходят мимо. А на ночь останавливаются на лугу. И мы идем с дедом здороваться с людьми. Очень он любит здороваться с людьми, и я от него научился. Может быть, когда-нибудь я поздороваюсь на лугу с настоящим пророком...

А зимой тоже Орозкул и тетка Бекей уезжают в город, к доктору. Говорит, что доктор может помочь, лекарства такие дать, чтобы ребенок родился. Но бабка всегда говорит, что лучше всего съездить на святое место. Это где-то там, за горами, где хлопок растет на

полях. Так вот есть там на ровном месте, на таком ровном, где, казалось бы, и горы не должно быть, есть там такая гора святая — Сулейманова гора. И если зарезать черную овцу у подножия ее и помолиться богу, идти в гору и на каждом шагу кланяться и молиться богу да попросить его хорошенько, он может сжалиться и дать ребенка. Тетка Бекей очень хочет съездить туда, на Сулейманову гору. А дядя Орозкул не очень. Далеко. «Денег,— говорит,— много надо. Туда ведь только самолетом через горы можно попасть. А до самолета сколько ехать, и тоже деньги...»

Когда они уезжают в город, мы остаемся на кордоне совсем одни. Мы и соседи наши — дядя Сейдахмат, его жена Гульджамал и их маленькая девочка. Вот и все мы.

Вечером, когда с делами покончено, дед рассказывает мне сказки. Я знаю, за домом темная-темная, морозная-морозная ночь. Ветер ходит злющий. Самые великие горы и те в такие ночи робеют, жмутся кучей поближе к нашему дому, к свету в окошках. И от этого мне страшно и радостно. Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из дому. Я бы им громко сказал, горам: «Не робейте, горы! Я здесь. Пусть ветер, пусть темно, пусть метель, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Стойте на местах, не жмитесь в кучу». Потом я пошел бы по сугробам, перешагнул бы через реки — и в лес. Деревьям ведь очень страшно ночью в лесу. Они одни, и никто им слова не скажет. Стынут голые деревья на стуже, некуда им приткнуться. А я бы ходил в лесу и каждое дерево похлопал бы по стволу, чтобы ему не так страшно было. Наверно, те деревья, что весной не зеленеют,— это те, которые застыли от страха. Мы потом рубим этот сушняк на дрова.

Обо всем этом я думаю, когда дед рассказывает мне сказки. Он долго рассказывает. Разные есть — смешные есть, особенно про мальчика с пальчик по имени Чыпалак, которого проглотил волк-жадюга на свою беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул Чыпалак под листом, а верблюд бродил вокруг, хап — и съел его вместе с листом! Потому и говорят: верблюд не знает, что он глотает. Стал Чыпалак кричать, на помощь звать. Пришлось старикам зарезать верблюда, чтобы выручить своего Чыпалака. А с волком приключилось еще того чище. Тоже проглотил он Чыпалака по глупости своей. А потом плакал горькими слезами. На-

ткнулся волк на Чыпалака. «Что за козявка под ногами путается? Слизну я тебя одним мигом». А Чыпалак говорит: «Не трогай меня, волк, а то сделаю тебя собакой».— «Ха-ха,— хохочет волк,— где это видано, чтобы волк становился собакой! За дерзость твою я тебя съем». И проглотил его. Проглотил и позабыл. Но с этого дня лишился он жизни волчьей. Только волк начинает подкрадываться к овцам, а Чыпалак кричит у него в животе: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый волк, крадусь, чтоб овцу уволочь!» Волк не знает, как быть. Кусает себя за бока, катается по земле. А Чыпалак не унимается: «Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лупите!» Пастухи с дубьем на волка, волк — от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума спятил волчище, сам бежит и сам кричит: «Догоняйте!» А волк-волчище тем временем ноги уносит. Но от этого ему не легче. Куда ни сунется, везде его подводит Чыпалак. Везде его гонят, везде над ним смеются. Отощал волк от голода, кожа да кости остались. Зубами щелкает, скулит: «Что же это за наказание мне такое? Почему я сам кличу на себя беду? Одурел на старости лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жирные! Беги к Баймату, у него собаки глухие. Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше пойду к кому-нибудь в собаки наниматься...»

Правда ведь, папа, смешная сказка? Есть у деда и другие сказки, грустные, страшные, печальные. Но самая любимая моя сказка про Рогатую мать-олениху. Дед говорит, что каждый, кто живет на Иссык-Куле, должен знать эту сказку. А не знать — грех. Может быть, ты ее знаешь, папа? Дед говорит, что все это правда. Что так было когда-то. Что все мы — дети Рогатой матери-оленихи. И я, и ты, и все другие...

Вот так мы живем зимой. Долго тянется зима. Если бы не дедовы сказки, очень мне скучно было бы зимой.

А весной у нас хорошо. Когда совсем потеплеет, снова приходят в горы чабаны. И тогда мы в горах не одни. Только за рекой, дальше от нас никого нет. Там только лес и все, что в лесу. Для того мы и живем на кордоне, чтобы никто туда ногой не ступил, чтобы никто не тронул ни одной ветки. К нам даже приезжали ученые люди. Две женщины, и обе в штанах, старичок и еще один молодой парень. Парень этот у них учится. Целый месяц

жили. Травы собирали, листья и ветки. Они сказали, что таких лесов, как у нас на Сан-Таше, осталось на земле очень мало. Можно сказать, почти нет. И поэтому надо беречь каждое дерево в лесу.

А я думал, что дед наш просто так жалеет каждое дерево. Он очень не любит, когда дядя Орозкул дарит на бревна сосны...

3

Белый пароход удалялся. Уже не различить было в бинокль его труб. Скоро он скроется из виду. Мальчику теперь пора было придумать конец своего плаванья на отцовском пароходе. Все получилось хорошо, а вот конец не удавался. Он мог легко представить себе, как он превращается в рыбу, как плывет по реке к озеру, как встречается ему белый пароход, как он встречается с отцом. И все, что рассказывает он отцу. Но дальше дело не клеилось. Потому что вот, к примеру, уже виден берег. Пароход направляется к пристани. Матросы готовятся сходить на берег. Они пойдут по домам. Отцу тоже надо уходить домой. Жена и двое ребятишек ждут его на пристани. Как тут быть? Идти с отцом? Возьмет ли он его с собой? А если возьмет, жена его спросит: «Кто это такой, откуда он, зачем он?» Нет, лучше не идти...

А белый пароход уходил все дальше, превращаясь в едва видимую точку. Солнце уже ложилось на воду. В бинокль было видно, как ослепительно сияла огненно-лиловая поверхность озера.

Пароход ушел, исчез. Вот и кончилась сказка о белом пароходе. Надо домой.

Мальчик поднял портфель с земли, зажал бинокль под мышку. С горы спускался быстро, змейкой бежал со склона. И чем ближе подходил к дому, тем тревожней становилось на душе. Предстояло отвечать за изжеванное теленком платье. Уже ни о чем, кроме наказания, не думалось. Чтобы не совсем пасть духом, мальчик сказал портфелю: «Ты не бойся. Ну поругают нас. Ведь я же не нарочно. Я просто не знал, что теленок убежал. Ну дадут мне подзатыльник. Стерплю. А тебя если швырнут на пол, ты не пугайся. Ведь ты не разобьешься, ты портфель. Вот если бинокль попадет в руки бабки, ему не поздоровится. Мы сначала спрячем бинокль в сарае, а потом пойдем домой...»

Так он и сделал. Боязно было перешагнуть порог. Но в доме стояла настораживающая тишина. На дворе было так тихо и безлюдно, точно люди покинули это место. Оказывается, тетку Бекей опять бил муж. И опять деду Момуну пришлось унимать одуревшего зятя, опять пришлось старику умолять, упрашивать, виснуть на кулачищах Орозкула и видеть весь этот позор — избитую, растрепанную, вопящую дочь. И слышать, как при нем, при отце родном, последними словами бранят его дочь. Как обзывают ее сукой бесплодной, трижды проклятой яловой ослицей и разными другими словами. И слышать, как диким, обезумевшим голосом кляла дочь судьбу свою: «Разве я виновата, что бог лишил меня зачатия! Сколько баб на свете рожают, как овцы, а меня прокляло небо. За что? За что мне такая жизнь? Лучше убей меня, изверг! На, бей, бей!..»

Старик Момун скорбно сидел в углу, все еще тяжело дыша, смежив веки, и руки его, лежащие на коленях, дрожали. Он был очень бледен.

Момун глянул на внука, ничего не сказал, снова устало прикрыл глаза. Бабки не было дома. Она ушла мирить тетку Бекей с мужем, наводить у них порядок, подбирать разбитую посуду. Такая она вот, бабка: когда Орозкул бьет жену, бабка не вмешивается и деда удерживает. А после драки идет уговаривать, успокаивать. И за то спасибо.

Больше всего мальчику жалко было старика. Всякий раз в такие дни старик чуть не умирал. Как оглушенный сидел он в углу, никому не показываясь на глаза. Никому, ни единой душе не высказывал он то, о чем думал. А думал Момун в такие минуты, что стар уже он, что был у него один сын, да и тот погиб на войне. Уже никто и не знает о нем, никто и не помнит. Был бы сын, может, и не так сложилась бы судьба. Тосковал Момун и о жене своей умершей, с которой прожил весь век. Но самой большой бедой было то, что дочерям не выпало счастья. Младшая, бросив ему внука, ушла в город и мыкается теперь там с большой семьей в одной комнате. Вторая мучается здесь с Орозкулом. И хотя он, старик, при ней и хотя он все перетерпит ради дочери, счастья материнского ей все нет да нет... И уже много лет, как она живет с Орозкулом. И уже опостылела ей жизнь с ним, а куда денешься?.. И что будет потом — неровен час, помрет сам, стар ведь уже,— как-то тогда придется ей, разнесчастной дочери?

Мальчик наскоро похлебал из чашки кислого молока, съел кусок лепешки и притих подле окна. Зажигать лампу не стал,— не хотел тревожить деда, пусть себе сидит и думает.

Мальчик тоже думал о своем. Не понимал он, зачем тетка Бекей ублажает мужа водкой. Он ее кулаком, а она потом еще пол-литра достает...

Эх, тетка Бекей, тетка Бекей! Сколько раз избивал ее муж до полусмерти, а она все прощает ему. И дед Момун тоже прощает ему всегда. А зачем прощать? Не надо прощать таким людям. Он негодный, скверный человек. Не нужен он здесь. И без него обойдемся.

Ожесточенное детское воображение живо рисовало мальчику картину справедливой кары. Все они набрасывались на Орозкула и тащили его, толстого, огромного, грязного, к реке. И потом, раскачав, бросали в самые буруны. А он просил прощенья у тетки Бекей и деда Момуна. Ведь он не мог стать рыбой...

Мальчику становилось легче. Ему даже было смешно, когда он в своих мечтах видел, как барахтается Орозкул в реке и как рядом плывет его вельветовая шляпа.

Но взрослые, к великому огорчению, не поступали так, как считал справедливым мальчик. Они делали все наоборот. Приедет Орозкул домой уже подвыпивший. Его встречают как ни в чем не бывало. Дед коня примет, жена бежит самовар ставить. Все вроде только его и ждали. А он начинает куражиться. Сначала грустит, плачет. Как же так, мол, каждый человек, даже самый никудышный человечишка, такой, что и руку ему не обязательно подавать, имеет детей, сколько его душа пожелает. Пять и даже десять. А чем он, Орозкул, хуже других? Чем он не удался? Или по должности не вышел? Так, слава богу, старший объездчик заповедного леса! Или он бродяга какой-нибудь? Так ведь у цыгана полно их, цыганят, хоть отбавляй. Или он безвестный какой, или уважения нет к нему? Все есть. Всем взял. И конь под седлом, и камча в руках, и встречают с почетом. Так почему же сверстники его детям своим уже свадьбы справляют, а он? Кто он без сына, без семени?

Тетка Бекей тоже плачет, суетится, хочет как-то угодить мужу. Достает припрятанную поллитровку. И сама выпивает с горя. Дальше — больше, и потом вдруг Орозкул звереет, и тогда всю свою злобу он вымещает

на ней же, на жене своей. А она все прощает ему. И дед тоже прощает. Никто не вяжет Орозкула. Протрезвеет он, а утром жена, хотя и в синяках, самовар уже поставила. Дед коня уже овсом накормил, оседлал. Напьется Орозкул чаю, сядет на коня — и опять он начальник, хозяин всех лесов на Сан-Таше. А никто не догадывается, что такого, как Орозкул, давно уже пора бросить в реку...

Было уже темно. Ночь стояла на дворе.

Так заканчивался тот день, когда куплен был мальчику первый школьный портфель.

Укладываясь спать, он не мог придумать места для портфеля. Наконец положил его рядом с собой в изголовье. Мальчик не знал еще, узнает потом, что такие в точности портфели будут почти у половины класса. Но и это все равно не смутит его, его портфель останется самым необыкновенным, совсем особенным портфелем. Он не знал также, что его ждут новые события в его маленькой жизни, что наступит день, когда он останется один на всем белом свете и с ним будет только портфель. И причиной всему явится его любимая сказка о Рогатой матери-оленихе...

И в этот вечер ему очень хотелось еще раз послушать эту сказку. Старый Момун сам любил эту историю и рассказывал ее так, будто сам все видел, вздыхая, плача, умолкая и думая о своем.

Однако мальчик не посмел тревожить деда. Он понимал, что деду не до сказки. «Мы попросим его в другой раз,— сказал мальчик портфелю.— А сейчас я сам расскажу тебе о Рогатой матери-оленихе, слово в слово, как дед. И рассказывать буду так тихо, что никто не услышит, а ты слушай. Я люблю рассказывать и видеть все, как в кино. Дед говорит, что все это правда. Так было...»

4

Случилось это давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энесай называлась та река. Протекает она далеко отсюда, в Сибири. На коне туда три года и три месяца скакать.

Теперь эта река зовется Енисей, а в ту пору она называлась Энесай. Потому и песня была такая:

Есть ли река шире тебя, Энесай?
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай?
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай.

Вот такая она была, река Энесай.

Разные народы стояли тогда на Энесае. Трудно приходилось им, потому что жили они в постоянной вражде. Много врагов окружало киргизское племя. То одни нападали, то другие, то киргизы сами ходили в набег на других, угоняли скот, жгли жилища, убивали людей. Убивали всех, кого удавалось убить,— такие были времена. Человек не жалел человека. Человек истреблял человека. Дошло до того, что некому стало хлеб сеять, скот умножать, на охоту ходить. Легче стало жить грабежом: пришел, убил, забрал. А за убийство надо отвечать еще большей кровью, и за месть — еще большей местью. И чем дальше, тем больше лилось крови. Помутился разум у людей. Некому было примирить врагов. Самым умным и лучшим считался тот, кто умел застигнуть врага врасплох, перебить чужое племя до последней души, захватить стада и богатства.

Появилась в тайге странная птица. Пела, плакала по ночам до рассвета человечьим жалобным голосом, приговаривала, перелетая с ветки на ветку: «Быть великой беде! Быть великой беде!» Так оно и случилось, настал тот страшный день.

В тот день киргизское племя на Энесае хоронило своего старого вождя. Много лет предводительствовал батыр Кульче, во многие походы ходил, во многих сечах рубился. В боях уцелел, но настал час его смертный. В великой печали пребывали соплеменники два дня, а на третий собрались предать земле останки батыра. По давнему обычаю тело вождя полагалось нести в последний путь берегом Энесая по обрывам и кручам, чтобы с высоты простилась душа умершего с материнской рекой Энесай, ведь «эне» — это мать, а «сай» — это русло, река. Чтобы душа его пропела в последний раз песню об Энесае.

Есть ли река шире тебя, Энесай?
Есть ли земля роднее тебя, Энесай?
Есть ли горе глубже тебя, Энесай?
Есть ли воля вольнее тебя, Энесай?

Нету реки шире тебя, Энесай,
Нету земли роднее тебя, Энесай,
Нету горя глубже тебя, Энесай,
Нету воли вольнее тебя, Энесай...

На погребальной сопке у открытой могилы полагалось батыра поднять над головами и показать ему четыре стороны света: «Вот твоя река. Вот твое небо. Вот твоя земля. Вот мы, рожденные от одного с тобой корня. Мы все пришли проводить тебя. Спи спокойно». В память далеким потомкам на могиле батыра ставилась каменная глыба.

В дни похорон юрты всего племени расставляли цепью по берегу, чтобы каждая семья могла проститься у своего порога с батыром, когда будут проносить его тело на погребение, склонить к земле белый флаг скорби, голосить и плакать при этом и затем идти дальше вместе со всеми к следующей юрте, где опять будут причитать и плакать и склонять белый флаг скорби, и так до конца пути, до самой погребальной сопки.

Утром того дня солнце уже выходило на дневной путь, когда закончены были все приготовления. Вынесены бунчуки с конскими хвостами на древках, вынесены бранные доспехи батыра — щит и копье. Конь его был покрыт погребальной попоной. Трубачи приготовились играть в боевые трубы — карнаи, барабанщики ударить в барабаны — добулбасы — так, чтобы тайга закачалась, чтобы птицы тучей взлетели к небу и закружились с гамом и стоном, чтобы зверь бежал по чащам с диким храпом, чтобы трава прижалась к земле, чтобы эхо зарокотало в горах, чтобы горы вздрогнули. Плакальщицы распустили волосы, чтобы воспеть в слезах батыра Кульче. Джигиты опустились на одно колено, чтобы на крепкие плечи поднять его бренное тело. Все были наготове, ожидая выноса батыра. А на опушке леса стояли на привязи девять жертвенных кобылиц, девять жертвенных быков, девять девяток жертвенных овец на поминальную гризну.

И тут случилось непредвиденное. Как бы ни враждовали энесайцы между собой, но в дни похорон вождей не принято было идти войной на соседей. А теперь полчища врагов, незаметно окруживших на рассвете погру-

Веселое и печаль становище киргизов, выскочили из укрытий сразу со всех сторон, так что никто не успел сесть в седло, никто не успел взяться за оружие. И началось невиданное побоище. Убивали всех подряд. Так было задумано врагами, чтобы одним ударом покончить с зверским племенем киргизов. Убивали поголовно всех, чтобы некому было помнить об этом злодеянии, некому было мстить, чтобы время занесло сыпучим песком следы прошлого. Было — не было...

Человека долго рожать и растить, а убить — скорее скорого. Многие уже лежали порубленные, утопая в лужах крови, многие кинулись в реку, спасаясь от мечей и копий, и потонули в волнах Энесая. А вдоль берега, вдоль круч и обрывов пылали на целые версты киргизские юрты, объятые пламенем. Никто не успел убежать, никого не осталось в живых. Все было порушено и сожжено. Тела поверженных сбросили с круч в Энесай. Враги ликовали: «Теперь эти земли наши! Теперь эти леса наши! Теперь эти стада наши!»

С богатой добычей уходили враги и не заметили, как вернулись из леса двое детей — мальчик и девочка. Непослушные и озорные, они еще утром тайком от родителей побежали в ближайший лес драть лыки на лукошки. Заигравшись они, не заметили, как зашли глубоко в чащу. А когда услышали шум и крики побоища и кинулись назад, то не застали в живых ни отцов, ни матерей своих, ни братьев, ни сестер. Остались дети без роду, без племени. Побежали они с плачем от пепелища к пепелищу, и нигде ни единой души. Осиротели в час. В целом свете остались одни. А вдали клубилась туча пыли, враги угоняли в свои владения табуны и стада, захваченные в кровавом набеге.

Увидели дети пыль копытную и пустились вдогонку. Вслед за лютыми врагами бежали дети с плачем и зовом. Только дети могли так поступить. Вместо того чтобы скрыться от убийц, они пустились их догонять. Лишь бы не оставаться одним, лишь бы уйти прочь от погромленного, проклятого места. Взявшись за руки, мальчик и девочка бежали за угоном, просили подождать, просили взять с собой. Но где было услышать их слабые голоса в гуле, ржанье и топоте, в жарком беге угона!

Долго в отчаянии бежали мальчик и девочка. Но так и не догнали. А потом упали на землю. Боялись оглянуться вокруг, боялись шевельнуться. Жутко им было. Прижались друг к дружке и не заметили, как уснули.

Недаром говорят — у сироты семь судеб. Ночь прошла благополучно. Зверь их не тронул, лесные чудовища не уволокли. А когда проснулись, было утро. Солнце светило. Птицы пели. Встали дети и снова побрели по следу угона. Собирали по пути ягоды и коренья. Шли они и шли, а на третий день остановились на горе Смотрят, внизу на широком лугу великое пиршество идет. Сколько юрт поставлено — не счесть, сколько костров дымят — не счесть, сколько народу вокруг костров — не счесть. Девушки на качелях качаются, песни поют. Силачи на потеху народу, как беркуты, кружат, кидают друг друга наземь. То враги праздновали свою победу.

Стояли на горе мальчик и девочка, не решались подойти. Но очень уж хотелось очутиться возле костров, где так вкусно пахло жареным мясом, хлебом, диким луком.

Не выдержали дети, стали спускаться с горы. Удивились хозяева пришельцам, окружили их кучей.

— Кто вы? Откуда?

— Мы голодные,— отвечали мальчик и девочка,— дайте нам поесть.

Те догадались по их речи, кто они такие. Зашумели, загалдели. Стали спорить: убить их, недобитое вражеское семя, тотчас же или к хану вести? Пока спорили, какая-то сердобольная женщина успела сунуть детям по куску вареной конины. Их тащили к самому хану, а они не могли оторваться от еды. Повели их в высокую красную юрту, у которой стояла стража с серебряными топорами. А по становищу пронеслась тревожная весть, что неизвестно откуда появились дети киргизского племени. Что бы это значило? Все побросали свои игры и пиршества, сбежались огромной толпой к ханской юрте. А хан в тот час восседал на белой как снег кошме со своими знатными воинами. Пил кумыс, подслащенный медом, песни слушал хвалебные. Когда узнал хан, зачем к нему явились, в страшную ярость пришел: «Как вы смели тревожить меня? Разве не перебили мы племя киргизское начисто? Разве не сделал я вас владыками Энесая на вечные времена? Чего же вы сбежались, трусливые души? Посмотрите, кто перед вами! Эй, Рябая Хромая Старуха! — крикнул хан. И сказал ей, когда она выступила из толпы: — Уведи-ка их в тайгу и сделай так, чтобы на этом кончилось племя киргизское, чтобы в помине его не было, чтобы имя его

рубилось навеки. Ступай, Рябая Хромая Старуха, сделай так, как я велю...»

Молча повиновалась Рябая Хромая Старуха, взяла мальчика и девочку за руки и пошла их прочь. Долго шли они лесом, а потом вышли к берегу Энесая на высокую кручу. Здесь Рябая Хромая Старуха остановила детишек, поставила рядышком на краю обрыва. И перед тем, как столкнуть их вниз, проговорила:

— О великая река, Энесай! Если гору сбросить в твою глубину, канет гора, как камень. Если бросить сосну столетнюю, унесет ее, как щепку. Прими же в воды свои эти маленькие песчинки — двух детей человеческих. Нет им места на земле. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Если бы звезды стали людьми, им не хватило бы неба. Если бы рыбы стали людьми, им не хватило бы рек и морей. Мне ли тебе сказывать, Энесай? Возьми их, унеси их. Пусть покинут они наш постылый мир в младенчестве, с чистыми душами, с совестью детской, не запятнанной злыми умыслами и злыми делами, чтобы не знать им людского страданья и самим не причинять муки другим. Возьми их, возьми их, великий Энесай...

Плачут, рыдают мальчик и девочка. До речей ли им старушечьих, когда вниз с обрыва страшно взглянуть. И глубине волны ярые перекатываются.

— Обнимитесь, детки, напоследок, попрощайтесь,— сказала Рябая Хромая Старуха. А сама рукава засучила, чтобы сподручней было бросать их с обрыва. И говорит: — Ну, простите меня, детки. Значит, судьба такая. Хоть и не по своей воле совершу я сейчас это дело, но для нашего блага...

Только сказала она эти слова, как рядом раздался голос:

— Обожди, большая, мудрая женщина, не губи безвинных детей.

Обернулась Рябая Хромая Старуха, глянула — диву далась: стоит перед ней олениха, матка маралья. Да такие глаза у нее большущие, смотрят с укором и грустью. А сама олениха белая, как молозиво первоматери, брюхо бурой шерсткой подбито, как у малого вербенжонка. Рога — красота одна — развесистые, будто сучья осенних деревьев. А вымя чистое да гладкое, как груди женщины-кормилицы.

— Кто ты? Почему ты говоришь человечьим языком? — спросила Рябая Хромая Старуха.

— Я мать-олениха,— отвечала ей та.— А заговорила

так потому, что иначе ты не поймешь меня, не послушаешься.

— Чего ты хочешь, мать-олениха?

— Отпусти детей, большая, мудрая женщина. Прошу тебя, отдай их мне.

— Зачем они тебе?

— Люди убили двойню мою, двух оленят. Я ищу себе детей.

— Ты хочешь их выкормить?

— Да, большая, мудрая женщина.

— А ты хорошенько подумала, мать-олениха? — засмеялась Рябая Хромая Старуха.— Ведь они дети человеческие. Они вырастут и будут убивать твоих оленят.

— Когда они вырастут, они не станут убивать моих оленят,— отвечала ей матка маралья.— Я им буду матерью, а они — моими детьми. Разве станут они убивать своих братьев и сестер?

— Ох, не скажи, мать-олениха, не знаешь ты людей! — качала головой Рябая Хромая Старуха.— Не то что лесных зверей, они и друг друга не жалеют. Отдала бы я тебе сироток, чтобы ты сама узнала, что правдивы мои слова, но ведь и этих детей люди убьют у тебя. Зачем же тебе столько горя?

— Я уведу детей в далекий край, где их никто не разыщет. Пощади детишек, большая, мудрая женщина, отпусти их. Буду я им верной матерью... Вымя мое переполнилось. Плачет мое молоко по детям. Просит мое молоко детей.

— Ну что ж, коли так,— промолвила Рябая Хромая Старуха, подумав,— бери да уводи их быстрей. Уводи сирот в свой далекий край. Но если погибнут они в пути дальнем, если убьют их разбойники встречные, если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские,— пеняй на себя.

Благодарила мать-олениха Рябую Хромую Старуху. А мальчику и девочке сказала:

— Теперь я ваша мать, вы мои дети. Поведу я вас в далекий край, где лежит среди снежных гор лесистых горячее море — Иссык-Куль.

Обрадовались мальчик и девочка, резво побежали за Рогатой матерью-оленихой. Но потом они устали, ослабли, а путь далекий — из одного края света в другой. Не ушли бы они далеко, если бы Рогатая мать-олениха не кормила их молоком своим, не согревала телом своим по ночам. Долго шли они. Все дальше оставалась

Оставил старой родины Энесай, но и до новой родины, до Иссык-Куля, еще было очень далеко. Лето и зиму, весну, лето и осень, еще лето и зиму, еще весну, еще лето и осень пробирались они сквозь дремучие леса, по знойным степям, по зыбучим пескам, через высокие горы и бурные реки. Гнались за ними стаи волков, но Рогатая мать-олениха, посадив детей на себя, уносила их от диких зверей. Гнались за ними на конях охотники со стрелами, крича: «Олениха похитила детей человеческих! Держи! Лови!» — и стрелы пускали вдогонку; и от них, от незваных спасателей, уносила детей Рогатая мать-олениха. Бежала она быстрее стрелы, только шептала: «Крепче держитесь, дети мои,— погоня!»

Привела наконец Рогатая мать-олениха детей своих на Иссык-Куль. Стояли они на горе — дивовались. Кругом снежные хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец — не узнать. С одного края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг Иссык-Куля — не счесть, и за теми горами сколько еще таких же снежных гор высится — тоже не угадать.

— Это и есть ваша новая родина,— сказала Рогатая мать-олениха.— Будете жить здесь, землю пахать, рыбу ловить, скот разводить. Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и умножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда принесли, пусть им сладко будет говорить и петь на своем языке. Живите, как должны жить люди. А я буду с вами и с детьми ваших детей во все времена...

Вот так мальчик и девочка, последние из киргизского племени, обрели себе новую родину на благословенном и вечном Иссык-Куле.

Быстро время прошло. Мальчик стал крепким мужчиной, а девочка — зрелой женщиной. И тогда поженились они, стали мужем и женой. А Рогатая мать-олениха не покинула Иссык-Куль, жила в здешних лесах.

Однажды на рассвете разбушевался вдруг Иссык-Куль, зашумел. Роды наступили у женщины, мучилась она. А мужчина испугался. Взбежал на скалу и стал громко звать:

— Где ты, Рогатая мать-олениха? Слышишь, как шумит Иссык-Куль? Твоя дочь рожает. Приходи скорей, Рогатая мать-олениха, помоги нам...

И послышался тогда издали звон переливчатый, словно караванный колоколец позванивает. Все ближе и ближе доносился тот звон. Прибежала Рогатая мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель — бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колоколец на бешиках иссык-кульских. Качает мать колыбель, а колокольчик серебряный позванивает, будто бежит издали Рогатая мать-олениха, спешит, колыбель березовую несет на рогах...

Как только явилась на зов Рогатая мать-олениха, так и разродилась женщина.

— Этот бешик для вашего первенца,— сказала Рогатая мать-олениха.— И будет у вас много детей. Семеро сыновей, семеро дочерей!

Обрадовались мать и отец. Назвали первенца своего в честь Рогатой матери-оленихи — Бугубаем. Вырос Бугубай, взял красавицу из племени кипчаков, и стал умножаться род Бугу — род Рогатой матери-оленихи. Стал большим и сильным род бугинцев на Иссык-Куле. Чтили Рогатую мать-олениху бугинцы как святыню. На бугинских юртах над входом вышивался знак — рога марала, чтобы издали было видно, что юрта принадлежит роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, когда состязались на скачках, раздавался клич: «Бугу!» И всегда бугинцы выходили победителями. А в лесах иссык-кульских бродили тогда белые рогатые маралы, красоте которых завидовали звезды в небе. То были дети Рогатой матери-оленихи. Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При виде марала бугинец сходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала...

Так было, пока не умер один очень богатый, очень знатный бугинец — у него овец было тысячи тысяч, лошадей — тысячи тысяч, а все люди вокруг в пастухах у него были. Великие поминки устроили его сыновья. Созвали они на поминки самых знаменитых людей со всех концов земли. Для гостей поставили тысячу сто юрт на берегу Иссык-Куля. Не счесть, сколько скота было зарезано, сколько кумыса выпито, сколько яств кашгарских было подано. Сыновья богача ходили важные: пусть знают люди, какие богатые и щедрые наследники остались после умершего, как они его уважают, как почитают его память... («Э-э, сын мой, худо, когда люди не умом блещут, а богатством!»)

А певцы, разъезжая на аргамаках, подаренных им сыновьями покойника, красуясь в подаренных собольих шапках и шелковых халатах, наперебой восхваляли и покойного и наследников.

— Где еще увидишь под солнцем такую счастливую жизнь, такие пышные поминки? — поет один.

— Со дня сотворения мира такого еще не бывало! — поет второй.

— Нигде, только у нас так почитают родителей, воздают памяти родительской честь и славу, чтут их святые имена, — поет третий.

— Эй, певцы-краснобаи, что вы тут галдите! Разве есть на свете слова, достойные этих щедрот, разве есть слова, достойные славы покойного! — поет четвертый.

И так состязались они день и ночь. («Э-э, сын мой, худо, когда певцы состязаются в славословии, из певцов они превращаются во врагов песни».)

Много дней, как праздник, справлялись те знаменитые поминки. Очень хотелось кичливым сыновьям богача затмить других, превзойти всех на свете, чтобы слава о них пошла по всей земле. И надумали они установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи. («Э-э, сын мой, еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня — безрассудство».)

Захотелось сыновьям богатея оказать памяти отца эту неслыханную честь, и ничто их не удержало. Сказано — сделано! Послали охотников, убили охотники марала, срубили его рога. А рога саженьи, как крылья орла на взлете. Понравились сыновьям маральи рога, по восемнадцать отростков на каждом — значит, жил восемнадцать лет. Хорош! Велели они мастерам установить рога на гробнице.

Старики возмутились:

— По какому праву убили марала? Кто посмел поднять руку на потомство Рогатой матери-оленихи?

А им отвечают наследники богача:

— Марал убит на нашей земле. И все, что ходит, плавает, летает в наших владениях, от мухи до верблюда, — это наше. Мы сами знаем, как нам поступать с тем, что наше. Убирайтесь!

Слуги отхлестали стариков плетками, посадили на коней задом наперед и погнали их с позором прочь.

С этого и пошло... Великое несчастье свалилось на потомство Рогатой матери-оленихи. Чуть ли не каждый стал охотиться в лесах на белых маралов. Каждый бугинец долгом считал установить на гробницах предков маральи рога. Дело это теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших. А кто не умел добыть рога, того считали теперь недостойным человеком. Стали торговать маральими рогами, стали запасать их впрок. Появились такие люди из рода Рогатой матери-оленихи, что сделали своим ремеслом добычу маральих рогов и продажу их за деньги. («Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место».)

Гиблое время наступило для маралов в иссык-кульских лесах. Не было им пощады. Бежали маралы в недоступные скалы, но и там доставали их. Напускали на них своры гончих собак, чтобы выгоняли маралов на стрелков в засаде, били без промаха. Косяками губили маралов, выбивали их целыми стадами. Об заклад бились, кто достанет такие рога, на каких отростков больше.

И не стало маралов. Опустели горы. Не услышать марала ни в полночь, ни на рассвете. Не увидеть ни в лесу, ни на поляне, как он пасется, как скачет, запрокинув на спину рога, как перемахивает через пропасть, точно птица в полете. Народились люди, которые за всю свою жизнь ни разу не видели марала. Только слышали о нем сказки да видели рога на гробницах.

А что сталось с Рогатой матерью-оленихой?

Обиделась она, крепко обиделась на людей. Говорят, когда маралам совсем не стало житья от пуль и гончих собак, когда осталось маралов столько, сколько на пальцах не трудно перечесть, поднялась Рогатая мать-олениха на самую высокую горную вершину, попрощалась с Иссык-Кулем и увела последних детей своих за великий перевал, в другой край, в другие горы.

Вот какие дела бывают на земле. Вот и сказка вся. Хочешь верь, хочешь нет.

А когда Рогатая мать-олениха уходила, сказала она, что никогда не вернется...

5

Снова стояла осень в горах. Снова после шумного лета все настраивалось на осеннюю тишину. Улеглась окрест пыль скотогона, погасли костры. Стада ушли на зиму. Люди ушли. Опустели горы.

Уже в одиночку летали орлы, скупо роняя клекот. Глухо шумела вода в реке: привыкла река за лето к росам, притерлась, обмелела. Трава перестала расти, прикидывала на корню. Листья устали держаться на ветках и кое-где начинали опадать.

А на самые высокие вершины по ночам уже ложится молодой серебристый снег. К утру темные гряды хребтов становились седыми, как загривки черно-бурых лисиц.

Настывал, нахолаживался ветер в ущельях. Но пока еще дни стояли светлые, сухие.

Леса за рекой, напротив кордона, быстро входили в осень. От самой реки и вверх, до границы Черного Бора, бездымным пожаром шел по крутому мелколесью осенний пад. Самыми яркими — рыже-багряными — и самыми цепкими на подъем были осиновые и березовые чащи: они добирались до подснежных высот большого леса, до царства сумрачных сосен и елей.

В бору было чисто, как всегда, и строго, как в храме. Только коричневые твердые стволы, только смолистый сухой запах, только бурые иглы, сплошь усыпавшие подножие леса. Только ветер, неслышно текущий между вершинками старых сосен.

Но сегодня с утра над горами галдели не смолкая растревоженные галки. Большая, яростно орущая стая непрестанно кружила над сосновым лесом. Галки всполошились сразу, заслышав стук топоров, и теперь, крича наперебой, точно их ограбили средь бела дня, преследовали двоих людей, спускавших с горы срубленную сосну.

Бревно волокли на пенях конной упряжкой. Орозкул шел впереди, держа коня под уздцы. Набычившись, цепляя плащом за кусты, он шел, тяжело дыша, как вол в борозде. За ним позади бревна поспевал дед Момун. Ему тоже было нелегко на такой высоте, задыхался старик. В руках у него была березовая вага, которой он цеплял на ходу бревно. Бревно то и дело утыкалось то в пеньки, то в камни. А на спусках так и норовило навернуться поперек склона и покатиться вниз. Тогда не миновать беды — расшибет насмерть.

Опасней тому, кто страхует бревно вагой,— но чем черт не шутит: Орозкул уже несколько раз испуганно отпрыгивал прочь от упряжки, и всякий раз обжигало его стыдом, когда он видел, что старик, рискуя жизнью, удерживает бревно на скате и ждет, пока Орозкул вер-

нется к лошади и возьмет ее под уздцы. Но недаром говорят: чтобы скрыть свой позор, надо опозорить другого.

— Ты что, на тот свет хочешь отправить меня? — орал Орозкул на тестя.

Вокруг никого не было, кто бы мог услышать и осудить Орозкула: где видано, чтобы со стариком так обращались? Тесть робко заметил, что ведь и он сам может попасть под бревно,— зачем же кричать на него так, как будто он нарочно все делает.

Но это еще сильней раздражало Орозкула.

— Ишь ты какой! — негодовал он.— Тебя расшибет, так ведь ты пожил уже свое. Что тебе? А я разобьюсь, кто возьмет твою неродящую дочь? Кому она нужна, такая бесплодная, как хлыст шайтана?..

— Трудный ты человек, сын мой. Нет у тебя уважения к людям,— ответил на это Момун.

Орозкул даже приостановился, смерил старика взглядом.

— Такие старики давно у очагов лежат, задницу себе греют на золе. А тебе зарплата идет, какая ни есть. А откуда она, эта зарплата? Через меня. Какого же тебе еще уважения нужно?

— Да ладно уж, к слову сказал,— смирился Момун.

Так они шли. Преодолев еще один подъем, остановились на откосе передохнуть. Лошадь взмокла вся, покрылась мылом.

А галки все так же не успокаивались, все кружились. Их было тьма, и галдели они так, словно задались целью сегодня весь день только и делать, что кричать.

— Зиму раннюю чуют,— промолвил Момун, чтобы поговорить о другом и тем смягчить гнев Орозкула.— Это они к отлету сбиваются. Не любят, когда им мешают,— добавил он, точно извиняясь за неразумных птиц.

— А кто им мешает? — резко обернулся Орозкул. И побагровел вдруг.— Заговариваешься ты что-то, старик,— тихо проговорил он с угрозой в голосе.

«Ишь,— подумал он,— на что намекает! Что ж это, из-за его галок и сосну не тронь, и ветку не сломи? Как бы не так! Пока что я здесь еще хозяин». Он зыркнул глазами на орущую стаю: «Эх, пулемет бы!» — и, отвернувшись, нехорошо выругался.

Момун промолчал. Ему не привыкать к матерщине зятя. «Опять нашло на него,— опечалился старик про се-

ки — Выпьет — звереет. С похмелья тоже — не скажи ничего. И почему только люди становятся такими? — сокрушался Момун.— Ты ему добро — он тебе зло. И не застыдится, и не одумается. Вроде бы так и должно быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. Все вокруг должны угождать ему. А не захочешь — заставит. Хорошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой у него народу — раз-два, и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи боже... И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, сыщет тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И прав останется. Да, нет таким переводу...»

— Ну, довольно стоять,— прервал Орозкул размышления старика.— Пошли,— приказал он.

И они двинулись.

Сегодня с самого утра Орозкул был не в духе. Утром, когда надо было переправляться с инструментом на тот берег в лес, Момун спешил отвезти внука в школу. Совсем из ума выжил старик! Каждое утро седлает коня, отвозит мальчишку в школу, потом снова скачет, привозит его из школы. Возится с этим брошенным пригулком. Подумаешь, в школу нельзя опаздывать! А тут такое дело, бог знает, как оно получится,— так с этим можно ждать, так выходит? «Я,— говорит,— мигом обернусь, стыдно перед учительницей, если мальчишка опоздает на урок». Нашел кого стыдиться! Ну и дурак! Да кто она такая, учительница эта? Пять лет в одном пальто ходит. Только и видишь с тетрадями, с сумками. Голосует на дороге — все ей в район требуется, все ей чего-то не хватает,— то угля для школы, то стекла, то мела, а то и тряпок. Да разве порядочная учительница пойдет в такую школу? Название какое придумали — карликовая школа. Она и вправду карликовая. Какой от нее толк? Настоящие учителя в городе. Школы сплошь из стекла. Учителя в галстуках. Но то в городе... Начальство там какое ездит по улицам. А какие машины! Так и хочется остановиться и замереть, вытянуться, пока она проскользит, машина эта черная, блестящая, плавная. А они, городские люди, будто и не замечают этих машин, некогда — спешат, бегут куда-то. Вот там, в городе, жизнь так жизнь! Туда бы двинуться, там бы где пристроиться. Там умеют уважать человека по должности. Раз положено — значит,

обязан уважать. Большая должность — больше уважения. Культурные люди. И за то, что побывал в гостях или подарок какой получил, бревна таскать или что-нибудь вроде этого делать там не приходится. Не то что здесь — полсотню, от силы сотню, он тебе даст, лес увезет да еще жалобу накатает на тебя: взяточник Орозкул, такой-сякой... Темнота!

Да-а, в город бы... Эх, послал бы ко всем чертям и горы эти, и леса эти, и бревна эти, трижды проклятые, и жену эту пустобрюхую, и старика безмозглого с пащенком этим, с которым он возится, как с невидалью какой. Эх, взыграл бы я, как сытый конь на овсе! Заставил бы себя уважать: «Орозкул Балажанович, разрешите войти к вам в кабинет?» А там и женился бы на городской. А почему бы и нет? Скажем, на артистке какой-нибудь, красавице, что поет да пританцовывает с микрофоном в руке; говорят, для них главное, чтобы человек при должности был. Взял бы такую под ручку, а сам при галстуке. И — в кино. А она каблучками стучит и духами пахнет. Прохожие носом тянут. Смотришь, и дети народились бы. Сына на юриста выучил бы, а дочку, чтобы на рояле играла. Городские дети сразу заметные — умные. Дома только по-русски говорят — станут они забивать себе головы деревенскими словами. Он бы своих так и воспитал: «Папочка, мамочка, хочу то, хочу это...» Разве же своему чаду что пожалеешь? Эх, многим бы нос утер, показал бы, кто он есть! А чем он хуже других? Те, что наверху, лучше его, что ли? Такие же люди, как он. Просто им повезло. А ему нет. Увильнуло счастье. Да и сам виноват. После курсов для лесничих надо было в город, в техникум податься, а то и в институт. Поторопился — на должность потянуло. Хотя и маленькая, но должность. Вот и ходи теперь по горам, таскай бревна, как ишак. А тут еще галки эти. И чего орут, чего кружатся? Эх, пулемет бы...

Было с чего расстраиваться Орозкулу. Отгулял лето. Надвигалась осень, а вместе с летом уходила пора гостеваний у чабанов и табунщиков. Как это поется: «Отцвели цветы на джайлоо, пора собираться в низовья...»

Осень настала. Приходилось Орозкулу рассчитываться за почет, за угощения, за долги, за обещания. Да и за хвастовство: «Тебе что? Два кругляка сосновых на матицы, только-то? О чем тут говорить! Приедешь, увезешь».

Наболтал, подношенья получал, водку пил,— а теперь, задыхаясь, обливаясь потом, проклиная все на свете, пер эти кругляки по горам. Боком они выходили ему. Да и вообще вся жизнь его боком шла. И вдруг мелькнула в голове отчаянная мысль: «А плюну на все и уйду куда глаза глядят!» Но он тут же понял, что никуда не уйдет, никому нигде не нужен и нигде такой жизни, какой хочет для себя, не сыщет.

Попробуй уйти отсюда или отказаться от обещанного! Его свои же друзья-приятели выдадут. Народ пошел никудышный. В позапрошлом году своему же сородичу-бугинцу пообещал за дареного ягненка сосновое бревно, а осенью не захотелось ему лезть наверх за сосной. Это сказать легко, а ну попробуй доберись туда, да спили, да приволоки ее. И если к тому же сосна эта не один десяток лет прожила на свете, ну-ка повозись с ней! Да ни за какое золото не захочешь браться за такое дело. А в те дни как раз заболел старик Момун, слег в постель. В одиночку же не справиться было, да и никто не справится один на один с бревном в горах. Свалить, может, и свалит сосну, да не стащит вниз... Знал бы наперед, что случится, сам бы с Сейдахматом полез за сосной. Но Орозкул поленился карабкаться в горы и решил отделаться от сородича первой попавшейся лесиной. Тот ни в какую: подавай ему настоящее сосновое бревно — и все тут! «Ягненка брать умеешь, а слово сдержать нет?» Орозкул рассвирепел, выставил его со двора: не хочешь брать — убирайся. А тот парень не промах, настрочил на объездчика Сан-Ташского заповедного леса Орозкула Балажанова жалобу и такое там расписал — и правду, и неправду,— что в пору было расстрелять Орозкула, как «вредителя социалистического леса». Долго потом таскали Орозкула по разным проверочным комиссиям из района, из лесного министерства. С трудом выпутался... Вот тебе и родственник! А еще: «Все мы дети Рогатой матери-олениихи. Один за всех, и все за одного!» Да ерунда все это, какая там, к черту, олениха, когда за копейку готовы друг другу в горло впиться или в тюрьму засадить! Это в прежние времена люди верили в олениху. До чего же глупые и темные были тогдашние люди, смешно! А теперь все культурные, все грамотные! Кому нужны они, эти сказки для малых детей!

После того случая Орозкул дал зарок,— больше никому, никаким знакомым, никаким соплеменникам,

пусть хоть трижды будут они детьми Рогатой материоленихи, не даст ни сучка, ни хворостинки.

Но возвратилось лето. Забелели юрты на зеленых горных лугах, загомонили стада, потянулись дымки у ручьев и рек. Солнце сияло, кумысом пьянящим пахло, цветами пахло. Хорошо сидеть на свежем воздухе подле юрты, на зеленой траве, в кругу друзей-приятелей, наслаждаться кумысом, молодым мясом. А потом ахнуть стакан водки, чтобы замутилось в башке. И почувствовать, что под силу тебе дерево вырвать с комлем или голову свернуть вон той горе... Забывал Орозкул в такие дни о своем зароке. Сладко ему было слышать, как называли его большим хозяином большого леса. И опять обещал, опять принимал подношенья... И опять какая-то из реликтовых сосен в лесу не подозревала, что дни ее сочтены, вот только наступит осень.

А осень незаметно прокрадывалась в горы со сжатых полей и принималась шнырять кругом. И там, где она пробегала, рыжела трава, рыжели листья в лесу.

Ягоды зрели. Ягнята росли. Делили их на отары — ярочек отдельно, баранчиков отдельно. Женщины прятали сушеный сыр в зимние мешки. Мужчины принимались советоваться, кому первому открывать обратный путь в долины. А перед уходом те, что сговаривались летом с Орозкулом, предупреждали его, что в такой-то день, в такой-то час прибудут на кордон с машинами, приедут за обещанным лесом.

Вот и сегодня вечером приедет машина с прицепом, чтобы увезти два сосновых бревна. Одно уже было внизу, уже переправлено через реку и доставлено к тому месту, куда подъедет машина. Второе — вот оно, волокут его вниз. Если бы мог Орозкул сейчас вернуть все, что съел и выпил под эти бревна, он тотчас бы сделал это, лишь бы избавиться от труда и мучений, которые сейчас вынужден терпеть.

Увы, нет способа изменить свою проклятую судьбу в горах: машина с прицепом прибудет сегодня вечером, чтобы ночью вывезти бревна.

Хорошо еще, если все благополучно обойдется. Дорога проходит через совхоз, прямо возле конторы, другого пути нет, а в совхоз, бывает, наведывается милиция, госинспекция, и мало ли еще кто может оказаться там из района. Попадется им лесовоз на глаза: «Откуда везете лес и куда?»

Спина у Орозкула холодела при этой мысли. И злоба вскипала в нем ко всем и ко всему — к галдящим галкам над головой, к несчастному старику Момуну, к Сейдахмату, лентяю, догадавшемуся три дня тому назад уехать в город продавать картошку. Ведь знал он, что предстоит стаскивать бревна с гор! Улизнул, выходит... И вернется теперь только тогда, когда кончит свои дела на базаре. Не то приказал бы ему Орозкул вдвоем со стариком бревна приволочь, не мучился бы сам.

Но Сейдахмат был далеко, галок тоже достать нечем. На худой конец можно было бы излупить жену, но до дома добираться еще долго. Оставался старый Момун. Задыхаясь и все больше свирепея от горного удушья, матерясь на каждом шагу, Орозкул шел напролом через кусты, не жалея ни лошади, ни идущего за ним старика. Пусть подохнет лошадь, пусть подохнет этот старик, пусть он сам подохнет от разрыва сердца! Раз ему нехорошо — значит, и другим не должно быть хорошо. Пусть провалится этот мир, где все устроено не так, как требуется, не так, как положено Орозкулу по его достоинствам и по должности!

Уже не владея собой, Орозкул повел коня по кустарнику прямо на крутой спуск. Пусть Расторопный Момун попляшет вокруг бревна. И пусть попробует не удержать! «Прибью старого дурака — и все тут», — решил Орозкул. В другое время он никогда не посмел бы сунуться с бревном-волокушей на такой опасный откос. А тут бес попутал. И не успел Момун остановить его, успел лишь крикнуть: «Куда ты? Куда? Остановись!» — как бревно крутнулось на цепи и, сминая кусты, покатилось вниз. Бревно было сырое, тяжелое. Момун попытался было подставить вагу, чтобы не дать бревну скатиться вниз. Но удар оказался такой силы, что вагу выбило из рук старика.

Все произошло в одно мгновение. Лошадь упала, и ее на боку потащило вниз. Падая, она сшибла Орозкула. Он катился, судорожно цепляясь за кусты. И в этот момент какие-то рогатые животные испуганно шарахнулись в густой листве. Высоко и сильно подпрыгивая, они скрылись в березовой чаще.

— Маралы! Маралы! — вне себя от испуга и радости вскричал дед Момун. И замолк, будто не веря своим глазам.

И вдруг в горах стало тихо. Галки разом улетели. Бревно задержалось на скате, подмяв под себя молодые

крепкие березки. Лошадь, путаясь в сбруе, сама встала на ноги.

Орозкул, весь оборванный, отползал в сторону. Момун бросился на выручку к зятю.

— О пресвятая мать, Рогатая олениха! Это она спасла нас! Ты видел? Это дети Рогатой матери-оленихи. Вернулась наша мать! Ты видел?

Еще не веря, что все обошлось, Орозкул встал, мрачный, пристыженный, и отряхнулся:

— Не болтай, старик. Хватит! Выводи вон коня из постромков.

Момун послушно кинулся выпутывать лошадь.

— О пречудная мать, Рогатая олениха! — продолжал он радостно бормотать.— Вернулись маралы в наши леса. Не забыла нас Рогатая мать. Простила наш грех...

— Все бормочешь? — огрызнулся Орозкул. Он уже оправился от испуга, и прежняя злоба глодала его душу.— Сказки свои рассказываешь? Сам тронулся умом, так думаешь, и другие поверят твоим дурацким выдумкам!

— Я видел своими глазами. Это были маралы,— не сдавался дед Момун.— А разве ты не видел, сын мой? Ты же видел сам.

— Ну, видел. Вроде промелькнули штуки три...

— Верно, три. Мне тоже так показалось.

— Ну и что из того? Маралы так маралы. Тут вон человек чуть шею себе не свернул. Чего же радоваться? А если это были маралы, то пришли они, значит, из-за перевала. Там, в Казахстане, на той стороне гор, в лесах, говорят, водятся еще маралы. Там тоже заповедник. Возможно, заповедные маралы. Пришли так пришли. Нам какое дело. Казахстан нас не касается.

— Может, приживутся у нас? — помечтал дед Момун.— Остались бы...

— Ну, хватит! — оборвал его Орозкул.— Пошли.

Им надо было еще долго спускаться с бревном, а потом переправить его через реку волоком, в упряжи. И тоже трудное это дело. А затем, если удастся благополучно перетащить бревно через реку, надо еще дотянуть его до пригорка, где будет грузиться машина.

Ох, сколько трудов!..

Орозкул чувствовал себя совсем несчастным. И все вокруг казалось ему устроенным несправедливо. Горы — они ничего не чувствуют, ничего не желают, ни на что не жалуются, стоят себе и стоят; леса входят в

день, а потом и зиму войдут и не видят в этом ничего странного. Галки и те летают себе на свободе и орут, сколько им вздумается. Маралы, если то действительно были маралы, пришли из-за перевала и будут бродить в лесу как хотят и где хотят. В городах люди беспечно шагают по асфальтированным улицам, ездят на такси, сидят в ресторанах, предаются забавам. А он заброшен судьбою в эти горы, он несчастлив... Даже этот Расторопный Момун, тесть его никудышный, и тот счастливее, потому что он верит в сказки. Глупый человек! Глупцы всегда довольны жизнью.

А Орозкул ненавидит свою жизнь. Она не по нем. Эта жизнь для таких, как Расторопный Момун. Ему-то что надо, Момуну? Сколько живет, столько и горб гнет ночь и день, без отдыха. И в жизни ни один человек не был у него в подчинении, а он подчинялся всем, даже старухе своей, он даже ей не прекословит. Такой горемыка и сказкой будет счастлив. Увидел маралов в лесу — до слез дошел, точно встретил братьев родных, которых сто лет по свету искал.

Эх, что там говорить!..

Они вышли наконец на последний рубеж, откуда начинался длинный крутой спуск к реке. Остановились перевести дыхание.

За рекой, во дворе кордона, возле дома Орозкула что-то дымило. По дыму можно было догадаться — самовар. Значит, жена уже ждала его. Но от этого Орозкулу не стало легче. Дышал он широко ртом, воздуха не хватало. В груди болело, и в голове, как эхо, стучали удары сердца. Пот со лба разъедал глаза. А впереди еще такой долгий и крутой спуск. И дома ждет пустоголовая жена. Ишь, самовар поставила, угодить хочет... Он вдруг почувствовал острое желание разбежаться и пнуть ногой этот пузатый самовар, да так, чтобы полетел он во всем чертям. А потом наброситься на жену и бить ее, бить в кровь, насмерть. Мысленно он наслаждался этим, слыша вопли жены, ее проклятия судьбе своей горемычной. «Ну и пусть,— думал он.— Пусть! Мне плохо, почему ей должно быть хорошо?»

Его мысли прервал Момун.

— Я и забыл, сын мой,— спохватился он и поспешно подошел к Орозкулу.— Мне ведь в школу надо, малыша забрать. Уроки-то кончились.

— Ну и что? — нарочито спокойно произнес Орозкул.

— Не сердись, сын мой. Оставим бревно здесь. Спустимся. Ты пообедаешь дома. А я тем временем проскочу на коне в школу. Заберу мальчишку. Вернемся и переправим бревно.

— И долго ты думал, старик, пока это придумал? — съязвил Орозкул.

— Да ведь плакать будет мальчишка.

— Ну и что? — вскипел Орозкул. Наконец-то было за что проучить старика в полной мере. Весь день Орозкул искал, к чему бы придраться, а теперь Момун сам давал ему повод.— Он будет плакать, а мы будем дело бросать? Утром морочил голову — в школу повезу. Хорошо, отвез. Теперь из школы привезу? А я что? Или мы здесь в игрушки играем?

— Не надо, сын мой,— попросил Момун.— В такой день! Я-то ладно, но мальчишка будет ждать, будет плакать в такой день...

— Что — в такой день? Какой это такой особый день?

— Маралы вернулись. Зачем же в такой день...

Орозкул опешил, даже замолчал от удивления. Он уже и забыл про этих маралов, которые вроде бы промелькнули быстрыми, скачущими тенями, когда он катился по колючим кустарникам, когда душа у него от страха ушла в пятки. Каждую секунду его могло приутюжить сорвавшимся со склона бревном. Не до маралов было и не до болтовни этого старика.

— Ты за кого меня принимаешь? — тихо и яростно сказал он, дыша в лицо старику.— Жаль, что нет у тебя бороды, а не то потаскал бы, чтобы не считал других глупее себя. Да на кой хрен мне твои маралы! Буду я еще думать о них. Ты мне зубы не заговаривай. Давай становись к бревну. И пока не перетащим через реку, и не заикайся ни о чем. Кто там в школу ходит, кто там плачет — дела мне нет никакого. Хватит, пошли...

Момун, как всегда, повиновался. Он понимал, что не вырвется из рук Орозкула, пока бревно не будет доставлено на место, и молча отчаянно работал. Больше он не проронил ни слова, хотя душа исходила криком. Внук ждет его возле школы. Все ребята уже разбежались по домам, и только он один, его сирый внук, глядит на дорогу и ждет деда.

Старик представлял себе, как дети всем классом выскочили, топая, из школы, как стали разбегаться по домам. Проголодались. Еще на улице они чуют запах при-

[illegible] им оды и, радостные, возбужденные, пробегают под окнами своих домов. Матери ждут уже. У школы есть улыбка, от которой голова идет кругом. Худо ли самой матери, хорошо ли ей, а на улыбку для своего ребенка у нее всегда сил хватит. И если даже мать прикрикнет построже: «А руки? Руки кто будет мыть?» — все равно в глазах у нее спрятана та же улыбка.

У момуновского внука с тех пор, как он стал учиться, руки всегда были в чернилах. И деду это даже нравилось: значит, парень делом занимается. И вот стоит сейчас на дороге его внук, с руками в чернилах, держа свой любимый портфель, купленный этим летом. Он, наверно, устал ждать и уже беспокойно поглядывает, прислушивается — не появится ли на пригорке дед верхом на коне. Ведь он всегда вовремя приезжал. Когда мальчик выходил из школы, дед, уже спешившись, ждал его неподалеку. Все расходились по домам, а внук бежал к деду. «Вон дедушка. Побежим!» — говорил мальчик портфелю. И, добежав, смущенно кинулся бы к деду, обнял его и ткнулся лицом в живот, вдыхая привычный запах старой одежды и сухого летнего сена: в эти дни дед переправлял на вьюках сено с того берега, зимой по глубокому снегу не доберешься до него, лучше перевезти с осени. И долго потом Момун ходил, пропахнувший горьковатой сенной пыльцой.

Дед сажал мальчика позади себя на круп лошади, и они ехали домой то дорожной рысцой, то шагом, то молча, то переговариваясь о чем-нибудь незначительном, и незаметно приезжали. Через седловину между горами спускались к себе, в Сан-Ташскую падь.

Неистовое влечение мальчика к школе раздражало бабку. Едва проснувшись, он быстро одевался и перекладывал книги и тетради в портфеле. Бабку сердило и то, что он кладет на ночь портфель рядом с собой. «И чем это ты прилип к этому поганому портфелю? Хоть бы стал он тебе женой, нас от калыма за невесту избавил.» Мальчик пропускал мимо ушей бабкины слова, да и не очень понимал, о чем идет речь. Главным для него было не опаздывать в школу. Он выбегал во двор, торопил деда. И успокаивался лишь тогда, когда школу было уже видно.

Однажды они все же опоздали. На прошлой неделе путь-свет Момун переправился верхом на тот берег. Решил сделать с утра одну ездку за сеном. Все бы ничего,

но по пути вьюк развязался, сено высыпалось. Пришлось снова перевязывать весь вьюк, снова навьючивать коня. Второпях увязанное сено снова рассыпалось у самого берега.

А внук уже ждал на той стороне. Он, стоя на щербатом камне, размахивал портфелем и что-то кричал, звал. Старик заспешил — веревки запутались, не развяжешь, стянулись в узлах. А мальчишка все кричал, и старик понял, что он уже плачет. Тогда он бросил все — сено и веревки, сел на лошадь — и побыстрей к внуку, через брод.

Пока переправился, тоже время прошло: через брод не поскачешь—воды много, течение быстрое. Осенью еще не так страшно, а летом сшибет коня с ног — и пропал. Когда Момун наконец перебрался через реку и подъехал к внуку, тот уже плакал навзрыд. На деда не смотрел, только плакал и приговаривал: «Опоздал, опоздал в школу...» Старик свесился с коня, поднял мальчика к себе в седло и поскакал. Была бы она рядом, эта школа, сам бы бегал мальчишка. А то ведь всю дорогу не переставая плакал, и никак не мог старик успокоить его. Так и привез ревущего в школу. А уроки уже начались. Повел прямо в класс.

Извинялся, извинялся Момун перед учительницей, обещал, что в другой раз такого не случится. Но больше всего потрясло старика то, как плакал внук, переживал свое опоздание. «Дай-то бог, чтобы всегда тебя так тянуло в школу»,— думал дед. Однако почему все-таки так плакал парнишка? Значит, есть в его душе обида, невысказанная, своя обида...

И теперь, идя обочь бревна, забегая то на одну, то на другую сторону, подталкивая, подтыкивая бревно вагой, чтобы оно нигде не цеплялось, чтобы скользило быстрей с горы, Момун все думал: как-то он там, внук?

А Орозкул не спешил. Он шел коноводом. Да и не очень поспешишь тут — спуск долгий, крутой, приходится идти по склону наискось. Но разве нельзя было уважить его просьбу — оставить пока бревно, а потом вернуться и забрать? Эх, была бы сила, взвалил бы он бревно на плечо, шагнул через реку, сбросил бы его на то место, где будет грузиться машина! Нате, мол, получите свое бревно— и отстаньте. А сам пустился бы Момун к внуку.

Но где там! Надо еще добраться до берега, по камням, по галечнику, а там через брод волочить бревно

конем на ту сторону. А конь уже замучился — сколько прошел он по горам то вниз, то вверх... Хорошо еще, если все обойдется, а ну как застопорится бревно в камнях на середине реки или конь споткнется и упадет?

И когда они пошли по воде, дед Момун взмолился: «Помоги, Рогатая мать-олениха, не дай застрять бревну, не дай коню упасть!» Разувшись, перекинув сапоги через плечо, закатав штаны выше колен, с вагой в руках дед Момун поспевал за плывущим бревном. Бревно волокли наискось против течения. Насколько чиста и прозрачна была вода в реке, настолько и холодна. Осенняя вода.

Старик терпел: пусть, ноги не отвалятся, лишь бы быстрей переправить бревно. И все-таки бревно застряло, как назло, село на камни в самом порожистом месте. В таких случаях надо дать коню немного передохнуть и затем понукнуть его как следует, хорошим рывком можно снять бревно с камней. Но Орозкул, сидя на нем верхом, нещадно нахлестывал камчой уже ослабевшего, притомившегося коня. Конь оседал на задние ноги, скользил, спотыкался, а бревно не трогалось с места. Ноги старика окоченели, в глазах у него стало темнеть. Голова кружилась. Обрыв, лес над обрывом, облака в небе наклонились, падали в реку, уплывали по быстрому течению и снова возвращались. Плохо становилось Момуну. Проклятое бревно! Было бы оно сухое, вылежавшееся, тогда разговор другой,— сухой лес сам по воде плывет, только удерживай его. Это же только спилили и сразу поволокли через реку. Кто же так делает! Вот и получается. У темного дела конец худой. Оставлять сосну на высушку Орозкул не решается: нагрянет инспекция, акт составит — порубка ценных деревьев в заповедном лесу. Потому, как спилили, так побыстрей стаскивает бревно с глаз долой.

Орозкул бил коня каблуками, плетью, бил его по голове, матерился, орал на старика, будто он, Момун, был виноват во всем, а бревно не поддавалось, оно все больше залеживалось в камнях. И лопнуло терпенье старика. В первый раз за всю жизнь он повысил голос во гневе.

— Слазь с коня! — решительно подошел он к Орозкулу, стягивая его с седла.— Разве ты не видишь, что конь не тянет? Слазь сейчас же!

Удивленный, Орозкул молча подчинился. Прыгнул прямо в сапогах с седла в воду. С этой минуты он как бы оглупел, оглох, потерял себя.

— Давай! Подналяг! Вместе давай!

По команде Момуна они налегли на вагу, приподнимая бревно с места, высвобождая его из затора камней.

До чего же умное животное конь! Он рванулся именно в этот момент и, спотыкаясь, скользя по камням, натянул постромки в струну. Но бревно чуть стронулось с места, заскользило и снова застряло. Конь сделал еще рывок и не удержался, упал в воду, забарахтался, путаясь в сбруе.

— Коня! Коня поднимай! — толкнул Момун Орозкула.

Вместе, с трудом, им удалось помочь лошади встать на ноги. Конь дрожал от холода, едва стоял в воде.

— Распрягай!

— Зачем?

— Распрягай, тебе говорят. Перепрягать будем. Снимай постромки.

И опять Орозкул молча повиновался. Когда лошадь была выпряжена, Момун взял ее за поводья.

— А теперь пошли,— сказал он.— Вернемся потом. Пусть конь отдохнет.

— А ну-ка стой! — Орозкул перехватил поводья из рук старика. Он как бы проснулся. Он снова вдруг стал самим собой.— Ты кому дуришь голову? Никуда ты не пойдешь. Бревно вывезем сейчас. Вечером за ним люди приедут. Запрягай коня без разговоров, слышишь!

Момун молча повернулся и, ковыляя на закоченевших ногах, пошел бродом к берегу.

— Ты куда, старик? Куда, говорю?

— Куда! Куда! В школу. Внук там ждет с самого полдня.

— А ну вернись! Вернись!

Старик не послушался. Орозкул оставил лошадь в реке и уже почти у берега, на галечнике, настиг Момуна, схватил его за плечо, крутанул к себе.

И они оказались лицом к лицу.

Коротким движением руки Орозкул сорвал с плеча Момуна перекинутые голенищами старые кирзовые сапоги и наотмашь дважды ударил ими тестя по голове и по лицу.

— Пошли! Ну! — прохрипел Орозкул, отшвыривая в сторону сапоги.

Старик подошел к сапогам, поднял их с мокрого песка и, когда распрямился, на губах у него выступила кровь.

— Негодяй!— сказал Момун, сплевывая кровь, и перебросил сапоги снова через плечо.

Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не прекословивший, это сказал посиневший от холода жалкий старикашка с перекинутыми через плечо старыми сапогами, с пузырящейся на губах кровью.

— Пошли!

Орозкул потащил его за собой. Но Момун с силой вырвался и, не оглядываясь, молча пошел прочь.

— Ну, старый дурень, теперь держись! Я тебе это припомню! — прокричал ему вслед Орозкул, потрясая кулаком.

Старик не оглянулся. Выйдя на тропу возле «Лежащего верблюда», он сел, обулся и быстро пошел домой. Нигде не задерживаясь, направился прямо в конюшню. Оттуда вывел серого коня Алабаша, неприкосновенного орозкуловского выездного коня, на которого никто не смел садиться и которого не запрягали, чтобы не попортить скаковую стать. Точно на пожар, Момун выехал со двора без седла, без стремян. И когда он проскакал мимо окон, мимо все еще дымящегося самовара, выскочившие наружу женщины — старуха Момуна, его дочь Бекей и молодая Гульджамал — поняли сразу, что со стариком что-то случилось. Никогда он не садился верхом на Алабаша и никогда не скакал так по двору сломя голову. Они не знали еще, что это был бунт Расторопного Момуна. И не знали еще, во что обойдется ему этот бунт на старости лет...

А со стороны брода возвращался Орозкул, ведя в поводу выпряженную лошадь. Лошадь припадала на переднюю ногу. Женщины молча смотрели, как он приближался ко двору. Они еще не догадывались, что творилось в душе Орозкула, что он нес им в тот день, какие беды, какие страхи...

В мокрых, хлюпающих сапогах, в мокрых штанах, подойдя к ним грузными, тяжелыми шагами, он мрачно глянул на женщин исподлобья. Жена его, Бекей, забеспокоилась:

— Что с тобой, Орозкул? Что случилось? Да ты же мокрый весь. Бревно уплыло?

— Нет,— отмахнулся Орозкул.— На,— передал он поводья Гульджамал.— Отведи коня в конюшню.— А сам пошел к дверям.— Пошли в дом,— сказал он жене.

Бабка тоже хотела было пойти вместе с ними, но Орозкул не пустил ее на порог.

— А ты иди, старуха. Нечего тебе здесь делать. Иди к себе и не приходи.

— Да ты что? — обиделась бабка.— Что ж это такое? А старик-то наш, как он? Что случилось?

— Спроси у него самого,— ответил Орозкул.

В доме Бекей стащила с мужа мокрую одежду, подала ему шубу, внесла самовар и стала наливать в пиалу чаю.

— Не надо,— отверг жестом Орозкул.— Дай мне выпить.

Жена достала непочатую поллитровку, налила в стакан.

— Полный налей,— приказал Орозкул.

Залпом опрокинув в себя стакан водки, он завернулся в шубу и, укладываясь на кошме, сказал жене:

— Ты мне не жена, я тебе не муж. Иди. Чтобы ноги твоей в доме не было. Иди, пока не поздно.

Бекей вздохнула, села на кровать и, привычно сглатывая слезы, тихо сказала:

— Опять?

— Что опять? — взревел Орозкул.— Вон отсюда!

Бекей выскочила из дому и, как всегда, заламывая руки, заголосила на весь двор:

— И зачем только родилась я на свет, горемычная!..

А в это время старик Момун скакал на Алабаше к внуку. Алабаш — быстрый конь. Но все равно опаздывал Момун на два с лишним часа. Он встретил внука на пути. Учительница сама вела мальчика домой. Та самая учительница, с обветренными, грубыми руками, в том самом неизменном пальто, в котором ходила она пятый год. Утомленная женщина выглядела хмурой. Мальчик же, давно наплакавшись, со вспухшими глазами, шел рядом с ней, с портфелем своим в руках, какой-то жалкий и униженный. Крепко отчитала учительница старика Момуна. Он стоял перед ней спешившись, опустив голову.

— Не привозите ребенка в школу,— говорила она,— если не будете забирать его вовремя. На меня не рассчитывайте, у меня своих четверо.

Опять извинился Момун, опять обещал, что больше такого не повторится.

Учительница вернулась в Джелесай, а дед с внуком отправились домой.

Мальчик молчал, сидя на лошади перед дедом. И старик не знал, что сказать ему.

— Ты очень голоден? — спросил он.

— Нет, учительница мне хлеба дала,— ответил внук.

— А почему ты молчишь?

Мальчик ничего не сказал и на это.

Момун виновато улыбнулся:

— Обидчивый ты у меня.— Он снял фуражку с мальчика, поцеловал его в макушку и снова надел ему фуражку на голову.

Мальчик не обернулся.

Так они ехали, оба подавленные и молчаливые. Момун не давал воли Алабашу, строго придерживал поводья — не хотелось трясти мальчика на неоседланном коне. Да и спешить теперь стало вроде не к чему.

Конь вскоре понял, что от него требуется,— шел легкой полуиноходью. Пофыркивал, копытами стучал по дороге. На таком бы коне ехать в одиночку, песни петь негромкие,— так, для самого себя. Мало ли о чем поет человек наедине с собой? О несбывшихся мечтах, о годах прошедших, о том, что было тогда еще, когда любилось... Нравится человеку повздыхать по той поре, где осталось что-то навсегда недосягаемое. А что, собственно, — человек и сам толком не понимает. Но изредка ему хочется думать об этом, хочется почувствовать самого себя.

Добрый это попутчик — хороший конь хорошего хода...

И думал старик Момун, глядя на стриженый затылок внука, на его тонкую шею и оттопыренные уши, что от всей его жизни неудачливой, от всех его дел и трудов, от всех забот и печалей остался теперь у него только вот этот ребенок, это еще беспомощное существо. Хорошо, если дед успеет поставить его на ноги. А останется он один — трудно придется. Сам с кукурузный початок, а уже характер свой. Ему бы попроще быть, поласковей... Ведь такие, как Орозкул, возненавидят его и будут терзать, как волки загнанного оленя...

И тут вспомнил Момун про маралов, про тех, что давеча промелькнули быстрыми, стремительными тенями, что исторгли из груди его возглас удивления и радости.

— А ты знаешь, сынок? К нам маралы пришли,— сказал дед Момун.

Мальчик живо оглянулся через плечо:

— Правда?

— Правда. Сам видел. Три головы.

— А откуда они пришли?

— По-моему, из-за перевала. Там тоже есть заповедные леса. Осень нынче стоит, как лето, перевал открыт. Вот они и пришли к нам в гости.

— А они останутся у нас?

— Понравится, так останутся. Если не трогать их, они и будут жить. Кормов у нас вдосталь. Тут хоть тысячу маралов держи... В прежние времена, при Рогатой матери-оленихе, тут их было видимо-невидимо...

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся снова рассказывать о былых временах, о Рогатой матери-оленихе. И, сам увлекаясь своим рассказом, думал: как просто вдруг стать счастливым и принести счастье другому! Вот так бы и жить всегда. Да, вот так, как сейчас, как в этот час. Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное. Даже в этот час, когда они с внуком были счастливы, в душе старика рядом с радостью стояла тревога: что там Орозкул? Что он готовит, какую расправу? Какое задумал наказание ему, старику, посмевшему ослушаться? Ведь Орозкул этого так не оставит. Иначе он не был бы Орозкулом.

И чтобы не думать о несчастье, ожидавшем его дочь и его самого, Момун рассказывал внуку о маралах, о благородстве, о красоте и быстроте этих животных так самозабвенно, точно мог этим отвратить неизбежное.

А мальчику было хорошо. Он и не подозревал, что ждет его дома. У него горели глаза и уши. Как, неужели вернулись маралы? Значит, все это правда! Дед говорит, что простила Рогатая мать-олениха людские преступления против нее и разрешила детям своим вернуться в иссык-кульские горы. Дед говорил, что сейчас пришли три марала, чтобы разузнать, как тут, и если им понравится, то все маралы снова вернутся на родину.

— Ата,— прервал деда мальчик.— А может быть, пришла сама Рогатая мать-олениха? Может быть, она хочет посмотреть, как тут у нас, а потом позвать своих детей, а?

— Может быть,— неуверенно промолвил Момун. Он запнулся. Старик почувствовал себя неловко: не слишком ли он увлекся, не слишком ли мальчик уверовал в его слова? Но не стал разуверять дед Момун своего

внука, да теперь уже это было бы и слишком поздно.— Кто знает? — пожал он плечами.— Может быть, может быть, пришла и сама Рогатая мать-олениха... Кто знает...

— А вот мы узнаем. Давай, ата, пойдем на то место, где ты видел маралов,— сказал мальчик,— я тоже хочу посмотреть.

— Но они же не стоят на одном месте.

— А мы пойдем по следам. Будем долго-долго идти по их следам. А как увидим их хоть краешком глаза, вернемся. И тогда они подумают, что люди не будут трогать их.

— Ребенок ты,— усмехнулся дед.— Приедем домой, там видно будет.

Они уже подъезжали к кордону по тропе позади домов. Дом сзади — как человек со спины. Все три дома не подавали никаких знаков, что происходило внутри их. И во дворе тоже было пусто и тихо. Недоброе предчувствие сжало сердце Момуна. Что могло произойти? Избил Орозкул его несчастную Бекей? Напился пьяный? Что еще могло случиться? Почему так тихо, почему никого нет в этот час во дворе? «Если все в порядке, надо вытащить это злосчастное бревно из реки,— подумал Момун.— Ну его, Орозкула, лучше с ним не связываться. Лучше сделать, что хочет, да плюнуть на все это. Ослу ведь не докажешь, что он осел».

Момун подъехал к конюшне.

— Слезай. Вот мы и приехали,— стараясь не выдать своего волнения, сказал он внуку, так, как будто они прибыли издалека.

А когда мальчик с портфелем своим побежал было домой, дед Момун остановил его:

— Постой, вместе пойдем.

Он поставил Алабаша в конюшню и, взяв мальчика за руку, пошел к дому.

— Ты смотри,— сказал дед внуку,— если меня будут ругать, ты не бойся и не слушай всякие там разговоры. Тебя это не касается. Твое дело в школу ходить.

Но ничего такого не произошло. Когда они пришли домой, бабка только глянула на Момуна долгим осуждающим взглядом и, поджав губы, снова принялась за свое шитье. Дед тоже ничего не сказал ей. Хмурый и настороженный, он постоял посреди комнаты, потом взял с плиты большую чашку с лапшой, прихватил ложки и хлеб, и они сели с внуком за поздний обед.

Ели молча, а бабка даже не глядела в их сторону. На ее дряблом, коричневом лице застыл гнев. Мальчик понял, что произошло что-то очень плохое. А старики все молчали.

Так страшно, так тревожно становилось мальчику, что и еда не шла в горло. Хуже нет, когда за обедом люди молчат и думают о чем-то своем, недобром и подозрительном. «Может быть, это мы виноваты?» — мысленно сказал мальчик портфелю. Портфель лежал на подоконнике. Сердце мальчика покатилось по полу, вскарабкалось на подоконник, поближе к портфелю и зашепталось с ним.

«Ты ничего не знаешь? Почему дедушка такой печальный? В чем он виноват? И почему он опоздал сегодня, почему приехал на Алабаше и без седла? Ведь такого никогда не бывало. Может быть, он увидел маралов в лесу и поэтому задержался?.. А вдруг и нет никаких маралов? Вдруг это неправда? Что тогда? Зачем он рассказывал? Ведь Рогатая мать-олениха очень обидится, если он обманул нас...»

Покончив с обедом, дед Момун сказал негромко мальчику:

— Ты иди во двор, дело есть одно. Поможешь мне. Я сейчас.

Мальчик послушно вышел. И как только он закрыл за собой дверь, раздался голос бабки:

— Ты куда?

— Пойду бревно вывезу. Давеча оно застряло в реке,— ответил Момун.

— А, спохватился! — вскричала бабка.— Опомнился! Ты иди посмотри на свою дочь. Ее Гульджамал увела к себе. Кому она нужна теперь, твоя неродящая дура. Пойди, пусть она скажет, кто она теперь. Как собаку паршивую, выгнал ее из дому муж.

— Ну что же, выгнал так выгнал,— сказал с горечью Момун.

— Ишь ты! Да кто ты сам? Дочери твои беспутные, так, думаешь, внука выучить на начальника, что ли? Жди! Было бы из-за кого на рожон лезть. Да еще на Алабаша вскочил и помчался. Гляди какой! Знал бы свое место, помнил бы, с кем ты связываешься... Он тебе шею свернет, как курице. С каких это пор ты стал перечить людям? С каких это пор стал героем? А дочь свою и не думай приводить к нам. На порог не пущу...

Мальчик понуро побрел по двору. В доме еще разда-

вались крики бабки, потом дверь хлопнула, и Момун выскочил из дому. Старик направился к дому Сейдахмата, но на пороге его встретила Гульджамал.

— Лучше не надо сейчас, потом,— сказала она Момуну. Момун растерянно остановился.— Плачет, избил он ее,— зашептала Гульджамал.— Говорит, что теперь они жить вместе не будут. Проклинает она вас. Говорит, что во всем отец виноват.

Момун молчал. Что сказать? Теперь даже родная дочь не хотела видеть его.

— А Орозкул там пьет у себя. Зверь зверем,— шепотом рассказывала Гульджамал.

Они призадумались. Гульджамал сочувственно вздохнула:

— Хоть бы Сейдахмат наш приехал поскорей. Должен бы сегодня вернуться. Вывезли бы вместе это бревно да избавились хоть от этого.

— Разве дело в бревне? — покачал головой Момун. Он задумался и, увидев рядом внука, сказал ему:— Ты иди поиграй.

Мальчик отошел в сторону. Пошел в сарай, взял спрятанный там бинокль. Отер его от пыли. «Плохи наши дела,— грустно сказал он биноклю.— Кажется, это мы с портфелем виноваты. Была бы где-нибудь другая школа. Ушли бы мы с портфелем туда учиться. И чтобы никто не знал. Только вот деда жалко — искать будет. А ты, бинокль, с кем будешь смотреть на белый пароход? Думаешь, я рыбой не сделался бы? Вот посмотришь. Поплыву к белому пароходу...»

Мальчик спрятался за стогом сена и стал смотреть вокруг в бинокль. Невесело и недолго смотрел. В другое время не наглядишься: стоят осенние горы, покрытые лесами осенними, наверху снег белый, внизу огонь красный.

Мальчик положил бинокль на место и, выходя из сарая, увидел, как дед повел через двор коня в хомуте и сбруе. Он направился к броду. Мальчик хотел побежать к деду, но его остановил окрик Орозкула. Орозкул выскочил из дому в исподней рубашке, с шубой на плечах. Лицо его было багровым, как воспаленное вымя.

— Эй ты! — грозно крикнул он Момуну.— Куда ведешь коня? А ну, поставь на место. Без тебя вывезем. И не смей трогать. Ты теперь здесь никто. Я тебя уволяю с кордона. Убирайся куда хочешь.

Дед горько усмехнулся и повел коня обратно в конюшню. Мимо вдруг стал совсем стареньким и маленьким. Шел, шаркая подошвами и не глядя по сторонам.

Мальчик задохнулся от обиды за деда и, чтобы никто не видел, как он заплакал, побежал берегом реки. Тропинка впереди туманилась, пропадала и снова ложилась под ноги. Мальчик бежал в слезах. Вот они, его любимые прибрежные валуны: «Танк», «Волк», «Седло», «Лежащий верблюд». Мальчик ничего не сказал им — ничего они не понимают, стоят себе и стоят. Мальчик обнял горб «Лежащего верблюда» и, приваливаясь к рыжему граниту, заплакал навзрыд, горько и безутешно. Он долго плакал, постепенно стихая и успокаиваясь.

Наконец поднял голову, протер глаза и, глянув перед собой, оцепенел.

Прямо перед ним, на другом берегу, у воды, стояли три марала. Настоящие маралы. Живые. Они пили воду и, кажется, уже напились. Один — тот, что был с самыми большими, тяжелыми рогами,— снова опустил голову к воде и, потягивая ее, казалось, рассматривал в мелкой заводи свои рога, как в зеркале. Он был буроватого цвета, грудастый и мощный. Когда он вскинул голову, с его волосатой светлой губы упали в воду капли. Пошевеливая ушами, рогач внимательно глянул на мальчика.

Но больше всего на мальчика смотрела белая, бокастая олениха с короной тонких ветвистых рогов на голове. Рога у нее были чуть поменьше, но очень красивые. Она была в точности такая, как Рогатая мать-олениха. Глаза большущие, ясные. А сама — как кобылица статная, приносящая каждый год по жеребенку. Рогатая мать-олениха смотрела на мальчика пристально, спокойно, точно вспоминала, где она видела этого большеголового ушастого мальчишку. Глаза ее влажно поблескивали и светились издали. Из ноздрей легкий парок поднимался. Рядом с ней, повернувшись задом, объедал ветки тальника молодой комолый телок. Ему ни до чего не было дела. Он был упитанный, крепкий и веселый. Бросив вдруг глодать ветки, он резво подпрыгнул, задел оленуху плечом и, попрыгав еще вокруг, стал ласкаться. Терся своей безрогой головой о бока Рогатой матери-оленихи. А Рогатая мать-олениха все смотрела и смотрела на мальчика.

Затаив дыхание, мальчик вышел из-за камня, как во сне, протянув руки пред собой, подошел к берегу, к самой воде. Маралы нисколько не испугались. Они спокойно взирали на него с того берега.

Между ними протекала быстрая, прозрачно-зеленоватая река, вскипая, переливаясь через заторы подводных камней. И если бы не эта река, разделявшая их, то можно было бы, казалось, подойти и потрогать маралов. Маралы стояли на ровном, чистом галечнике. А за ними — там, где кончалась полоса галечника,— красной стеной пламенели осенние кущи тугайного леса. А выше — глинистый обрыв, над обрывом золотисто-багряные березы и осины, и еще выше — большой лес и белый снег на скалистых кряжах.

Мальчик закрыл глаза и снова открыл. Перед ним была все та же картина, а чуть ближе краснолиственного тугая стояли на чистом галечнике все те же сказочные маралы.

Но вот они повернулись и пошли гуськом через галечник в лес. Впереди — большой марал, в середке комолый телок, за ним Рогатая мать-олениха. Она оглянулась, еще раз посмотрела на мальчика. Маралы вошли в тугай, пошли через кусты. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины.

Потом они пошли по тропке вверх, поднялись на обрыв. Здесь остановились. И опять мальчику почудилось, что маралы глядели на него. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел как труба: «Ба-о! Ба-о!» Его голос прокатился над обрывом, над рекой долгим эхом: «А-о, а-о!»

И тут только мальчик опомнился. Со всех ног он кинулся бежать домой по знакомой тропе. Он бежал во весь дух, он пронесся по двору и, шумно распахнув дверь, крикнул, задыхаясь с порога:

— Ата! Маралы пришли! Маралы! Они здесь!

Дед Момун глянул на него из угла, где сидел скорбный и тихий, и ничего не сказал, точно не понимал, о чем идет речь.

— Ладно тебе шуметь!— шикнула бабка.— Пришли так пришли, не до них сейчас.

Мальчик тихо вышел. На дворе было пусто. Осеннее солнце уже завалилось за Караульную гору, за соседнюю гряду голых сумеречных гор. Густым негреющим заревом рдело солнце на холодеющих горных пустынях.

И отсюда это стылое зарево растекалось окрест зыбким отсветом по верхам осенних гор. Леса покрывались вечерней мглою.

Стало зябко. Ветер потянул со снегов. Мальчик дрожал. Его знобило.

6

Его знобило и тогда, когда он лег в постель. Он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь. Голова болела. Но мальчик молчал. И никто не знал, что он заболел. Забыли. Да и как тут было не забыть!

Дед совсем сбился с толку. Места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись и тяжко вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса, чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань,— кажется, опять ругался Орозкул, кто-то плакал всхлипывая...

Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе.

Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки. Вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружилась. А с другого берега глядели на него маралы. Все три марала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он вскинул голову от воды. А Рогатая мать-олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные и влажные. Мальчик очень удивлялся, что Рогатая мать-олениха может вздыхать по-человечески. Печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв. Здесь остановились. Большой марал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Ба-о! Ба-о!» Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого марала прокатился над рекой долгим эхом. После этого маралы скрылись в лесу. Но маль-

чему не хотелось с ними расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть.

И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от маралов, которые все так же стояли на галечнике. Рогатая мать-олениха подозвала его к себе:

— Ты чей будешь?

Мальчик молчал: ему стыдно было говорить, чей он.

— Мы с дедом тебя очень любим, Рогатая мать-олениха. Мы тебя давно ждали,— промолвил он.

— И я тебя знаю. И деда твоего знаю. Он хороший человек,— сказала Рогатая мать-олениха.

Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее.

— Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Иссык-Куль к белому пароходу? — вдруг сказал он.

Это он умел. Но Рогатая мать-олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться и, как бывало летом, поеживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков закружились вокруг гудящим роем. Он стал задыхаться, а горячий поток все тащил и тащил его.

— Помоги, Рогатая мать-олениха, помоги мне, я тоже твой сын, Рогатая мать-олениха! — громко кричал он.

Рогатая мать-олениха побежала следом по берегу. Быстро бежала, ветер свистел в ее рогах. И сразу ему стало легче.

Он был в поту. Помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никого не было. Фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светила. Мальчик хотел встать, напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса, кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышалась возня, топот ног... Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое, точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная, тяжело дыша, буквально втолкнула деда Момуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал. Гла-

за старика растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть.

— Сиди, сиди, старый дурак, и не лезь, когда не просят. Первый раз, что ли, у них такое? Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся. Делай, что я тебе говорю. Слышишь? А не то сживет он нас, ты понимаешь, сживет со свету. А куда нам на старости лет идти! Куда? — С этими словами бабка хлопнула дверью и снова торопливо умчалась.

В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое, прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плит, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застонал, обращаясь неизвестно к кому:

— Возьми меня, забери меня, горемычного! Только дай ей дитя! Сил моих нет глядеть на нее. Дай хоть одного-единственного! Пожалей нас...

Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь и там, за дверьми, глухо рыдал, зажимая себе рот.

Мальчику стало худо. Опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду. Но руки и ноги не слушались, голова налилась болью. А старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный Орозкул, отчаянно вопила тетка Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки.

Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир.

Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на галечнике, стояли все те же маралы. И тогда взмолился мальчик: «Рогатая мать-олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах! Очень прошу тебя, принеси им люльку! Пусть будет у них ребенок»,— а сам бежал по воде к Рогатой матери-оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, а как будто топтался в беге на месте. И все время умолял, заклинал Рогатую мать-олениху: «Принеси им люльку на рогах! Сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Орозкул не бил тетку Бекей. Сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Орозкула буду любить, только дай ему своего ребенка. Принеси им люльку на рогах!..»

Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколец. Он звенел все слышней. То бежала по горам мать-олениха и несла на рогах своих, подцепив за дужку, детскую колыбель — березовый бешик с колокольцем. За-

Донесся колыбельный колоколец. Очень спешила Рогатая мать-олениха. Все ближе и ближе звенел колокольчик.

Но что это? К звону колокольчика присоединился дальний гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильней, все явственней, а колокольчик оробел, телинькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора.

Мальчик услышал, как, погромыхивая железом о железо, подъехала ко двору машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули дверцы кабины. Переговариваясь между собой, приезжие — судя по голосам, человека три — прошли мимо окна, за которым лежал мальчик.

— Сейдахмат приехал,— раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужу.— А мы заждались!

— Здравствуйте,— ответили ей незнакомые люди.

— Ну как вы тут? — спросил Сейдахмат.

— Да ничего. Живем. Что так поздно?

— И то скажи — удачно. Добрался до совхоза, жду-пожду попутную машину. Хотя бы до Джелесая. А тут как раз вот они к нам за лесом,— рассказывал Сейдахмат.— Темно по ущелью. Дорога — сама знаешь.

— А Орозкул где? Дома? — поинтересовался один из приезжих.

— Дома,— неуверенно ответила Гульджамал.— Приболел малость. Да вы не беспокойтесь. Переночуете у нас, место есть. Идемте.

Они двинулись. Но через несколько шагов приостановились.

— Здравствуйте, аксакал. Здравствуйте, байбиче.

Приезжие здоровались с дедом Момуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено встречать чужих. Может быть, и Орозкул устыдится? Хоть бы уж не позорил себя и других.

Мальчик немного успокоился. Да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину — какая она, на четырех колесах или на шести? Новая или старая? А прицеп какой? Однажды весной нынешней к ним на кордон заезжал даже военный грузовик — на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили.

Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здорово! А прибывший военный с золотистыми погонами ходил вместе с Орозкулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало.

— Вы что, шпиона ищете? — спросил мальчик солдата.

Тот усмехнулся:

— Да, шпиона ищем.

— А к нам еще ни один шпион не приходил,— грустно проронил мальчик.

Солдат рассмеялся:

— А зачем он тебе?

— Я бы гонялся за ним и поймал бы его.

— Ух ты, какой прыткий! Мал еще, подрасти.

И пока военный с золотыми погонами ходил с Орозкулом по лесу, мальчик с шофером разговорились.

— Я люблю все машины и всех шоферов,— сказал мальчик.

— Это почему же? — поинтересовался солдат.

— Машины — они хорошие, сильные и быстрые. И они хорошо пахнут бензином. А шоферы— они все молодые, и все они дети Рогатой матери-оленихи.

— Что? Что? — не понял солдат.— Какой это Рогатой матери?

— А ты разве не знаешь?

— Нет. Никогда не слышал о таком чуде.

— А кто ты?

— Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился.

— Нет, чей ты?

— Отца, матери.

— А они чьи?

— Тоже отца, матери.

— А они?

— Слушай, да так можно без конца спрашивать.

— А я сын сыновей Рогатой матери-оленихи.

— Кто это тебе сказал?

— Дедушка.

— Что-то не то,— сомневаясь, покачал головой солдат.

Его заинтересовал этот головастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей Рогатой матери-оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых

отцов не знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?

— Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.

— Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего, живу нормально.

— Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.

— Кто испортится? Люди?

— Да.

— А почему?

— Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать.

— Ну и дед у тебя! — искренне подивился солдат.— Интересный дед. Только забивает он тебе голову всякой чепухой. А ты ведь большеголовый... И уши у тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К коммунизму идем, в космос летаем, а он чему учит? К нам бы на политзанятия его, мы бы его мигом обрадовали. Вот ты вырастешь, выучишься — и уезжай давай от деда. Темный, некультурный он человек.

— Нет, я от деда никогда не уйду,— возразил мальчик.— Он хороший.

— Ну, это пока что. А потом поймешь.

Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснить солдату, почему здешние шоферы, по крайней мере, те, которых он знал, считались сыновьями Рогатой матери-оленихи.

Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю пору или, кажется, чуть позднее, в горы за сеном приехали совхозные машины. Они проезжали не мимо кордона, а, немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в лощину Арчу и уходили наверх — туда, где летом накосили сено, чтобы затем осенью вывезти в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на Карнульной горе, мальчик побежал на развилку. Сразу столько машин! Одна за другой. Целая колонна. Он насчитал их пятнадцать штук.

Погода стояла на изломе, со дня на день мог повалить снег — и тогда прощай, сено, до следующего года. В этих местах, если не успеешь вовремя вывезти сено,

потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами; и когда время поджало, решили одним разом, всеми машинами вывезти заготовленное сено. Но не тут-то было!..

Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, какое дело? Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробегал наперегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, с широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор безусые, а в иных кабинах по двое парней. Напарники ехали накладывать и увязывать сено. Все они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми. Как в кино.

В общем-то, мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск с Караульной горы, по щебенистой, твердой дороге. Настроение у них было отличное — погода неплохая, а тут еще, откуда ни возьмись, какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости. Как тут было не посмеяться, и не помахать ему рукой, и не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал...

А самый последний грузовик, так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень в солдатской одежде, в бушлате, но только без погон и без военной фуражки, а в кепке. Это был шофер.

— Здравствуй! Ты чего тут, а?— приветливо подмигнул он мальчишке.

— Так просто,— не без смущения ответил мальчик.

— Ты деда Момуна внук?

— Да.

— Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята поехали бугинцы. За сеном катим. Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбрелись... Деду привет передай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чотбая. Скажи, что вернулся Кулубек из армии и теперь шофером в совхозе. Ну, бывай!— И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный. На орден похожий.

Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать с этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бугинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему воз-

вращаться домой. Гордый вернулся, однако рассказал деду о встрече. А значок нацепил на грудь.

В тот день под вечер ударил вдруг ветер сан-ташский, оттуда, с хребта поднебесного. Обрушился шквалом. Листья над лесом взметнулись столбом и, поднимаясь в небо все выше, с гулом пронеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогодь, глаз не раскроешь. И сразу снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила. И сыпал, ныожился снег.

Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше наносить в дом. А потом уже и носа из дому не показывали. Куда там — и такую раннюю да страшную метель.

— К чему бы это?— недоумевал и тревожился дед Момун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну.

За окном быстро сгущалась крутящаяся снежная мгла.

— Да сядь ты на место!— ворчала бабка.— Первый раз такое, что ли? «К чему бы это?» — передразнила она.— К тому, что настала зима.

— Так уж и враз, в один день?

— А почему бы и нет? Спрашивать тебя будет? Надо ей, зиме, вот она и явилась.

В трубе завывало. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству; но вскоре дрова разгорелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, угрелся.

Потом ужинали. Потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал.

«В лесу, наверно, совсем страшно»,— думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликался. Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед Момун, и бабка насторожились.

— Люди,— сказала бабка.

— Да,— неуверенно отозвался старик.

А потом забеспокоился: откуда в такой час? И стал торопливо одеваться. И бабка заторопилась. Встала, лампу засветила. И мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов и много ног. Скрипя наметенным снегом, при-

шельцы загремели подошвами по веранде, забарабанили в дверь.

— Аксакал, откройте! Замерзаем!

— Кто вы?

— Свои.

Момун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом ввалились облепленные снегом те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Кулубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил ногу. И в доме сразу поднялся переполох.

— Астапралла! [1] Что с вами?— в один голос запричитали дед Момун и бабка.

— Потом расскажем! Там идут еще наши, человек семь. Как бы с дороги не сбились. А-ну, садись сюда. Ногу подвернул,— быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи.

— Где ж они, ваши?— заторопился дед Момун.— Я сейчас пойду приведу их. А ты беги,— сказал он мальчику.— Скажи Сейдахмату, чтобы он скорей с фонарем прибежал, электрическим.

Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, свистящее чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырывался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сейдахмата. Тут всего шагов двадцать — тридцать, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр на выручку своих воинов. Сердце его преисполнилось отвагой и решимостью. Он казался себе могучим и непобедимым; и пока добежал до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пропасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развевающимся красным знаменем за косматым, черным чудовищем, убегающим от него по ущельям и скалам. Его реактивный истребитель пулей летел за чудовищем. Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей фашиста!» И везде при этом присутствовала Рогатая мать-олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбегал уже к двери Сей-

---

[1] Астапралла — упаси, господи.

дахматова дома, Рогатая мать-олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов!»— «Я спасу их, Рогатая мать-олениха, клянусь тебе!»— сказал мальчик вслух и забарабанил в двери.

— Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших!— Он выпалил эти слова так, что и Сейдахмат и Гульджамал отпрянули в страхе.

— Кого спасать? Что случилось?

— Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать электрическим, шоферы из совхоза заблудились.

— Дурак!— обругал его Сейдахмат.— Так бы и сказал.— И кинулся собираться.

Но это нисколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес. Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Момуном и Сейдахматом сразу же возле кордона и приведены домой. Ведь могло случиться и не так! Опасность легка, когда опасность миновала... В общем, нашлись и эти люди. Сейдахмат повел их к себе. Даже Орозкул пустил человек пять на ночевку — его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Момуну.

А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал, где право, где лево, где верх, где низ. Кружила, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колени.

И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Момун осторожно выведал, что же случилось с ними, хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали.

— Ой-ой-ой!— дивились они случившемуся и благодарили бога, прижимая руки к груди.

— А оделись вы, ребята, так легко,— упрекала бабка, разливая им горячий чай.— Разве можно приезжать в горы в такой одежонке? Дети вы, дети!.. Все красуетесь, на городских хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи, господи, закоченели бы как ледышки.

— Кто же знал, что случится такое?— отвечал ей Кулубек.— Зачем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри. Сиди себе, как дома. Крути баранку. В самолете — вон он на какой вы-

соте летит,— эти горы сверху все равно что холмики, за бортом мороз сорок градусов, а внутри люди в рубашках ходят...

Мальчик лежал на овчине между шоферов. Приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговор взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих людей искать прибежища у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней,— по крайней мере дня три. Пусть они живут у них. С ними так хорошо! Интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей.

— Ну вот,— чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку,— увидел своих братьев, бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть. Вон какие! Ох, и рослые пошли нынешние джигиты! Дай бог вам здоровья! Помню, в сорок втором году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство...

И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их, трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длиннющий строй по ранжиру, и оказалось, что киргизы почти все в самом конце, малорослые. Устроили им перекличку, а потом перекур. Подходит к ним какой-то верзила, рыжий и здоровенный. И громко так это:

— Откуда такие? Маньчжуры?

Среди них был старый учитель. Тот и ответил:

— Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще...

Дед вспомнил этот давнишний случай. Посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей.

— Прав оказался тот учитель. В городе, когда бываю или по дороге присматриваюсь: красивый, рослый народ пошел. Не то, что в прежние времена...

Парни понимающе улыбались: любит старик побалагурить.

— Рослые-то мы рослые,— сказал один из них.— Да вот завалили машину в кювет. Сколько нас, а силенок не хватило...

— Ну, куда там! Груженная сеном, да при такой метели,— оправдывал их дед Момун.— Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих.

Парни рассказывали деду, как они приехали на верх-

ний сенокос Арчи. Там стояли три большие скирды горного сена. Начали грузиться сразу со всех трех скирд. Укладывали возы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной. Кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, вывезти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уже до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два воза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть ли не ощупью спускались с гор. Сено — груз не тяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах.

Ехали и не подозревали, что ждет их впереди.

Спустились с плоскогорья Арчи, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган, снег ударил.

— Такое началось, что спина сразу взмокла,— рассказывал Кулубек.— Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук. Боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что по ней и днем-то опасно...

Мальчик слушал затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузчики уже спали вповалку на полу, одетые, в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами.

Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы за поводыря, держались одна за другую, и все время сигналили, чтобы не отбиться в сторону. Снег шел стеной, залеплял фары, «дворники» не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабин: но разве это езда? А снег все валил и валил... Колеса стали буксовать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы бешено ревели — все бесполезно... Выскочили из кабин и на голос друг друга, перебежками от одной машины к другой, собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах — значит сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь

до совхоза. А не отапливать кабины — запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всесильная техника стояла бессильной. Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка: унесет буря — и глазом не успеешь моргнуть. А машины тем временем все больше заносило снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заледенели на ветру.

— И вдруг вспомнил я, аксакал,— рассказывал Кулубек деду Момуну,— что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата-бугинца,— указал он на мальчика и ласково погладил его по голове.— Бегал у дороги. Остановился я. Как же — поздоровался. Поговорили мы. Правда? Ты чего не спишь?

Мальчик, улыбаясь, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый и самый красивый среди этих парней. Вот бы таким стать!

И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова:

— Он у нас такой. Любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил!

— И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю! — продолжал Кулубек.— И говорю ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. «Давай,— говорю,— добираться до кордона. Иначе погибнем здесь».— «А как,— кричат мне ребята в лицо,— как добираться? Пешком не дойдем. И машины бросать нельзя. А я им: «Давай,— говорю,— выталкивать машины на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Сан-Ташской пади,— говорю,— а там пешком доберемся к нашим лесникам, там недалеко». Поняли ребята. «Давай,— говорят,— командуй». Ну раз такое дело... Начали с головной машины: «Осмоналы, залезай в кабину!» А все мы, сколько нас было, подперли машину плечом. И пошел! Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. А назад отступать нельзя. И чудилось, что не машину мы прем наверх, а целую гору. Воз-то какой — скирда на колесах! И знаю только, что ору, сколько мочи есть: «Давай! Давай! Давай!» — но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается. И мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится на куски. В голове мутится...

— Ай-ай-ай! — сокрушался дед Момун.— Выпало на вам такое. Никак сама Рогатая мать-олениха оберегла вас, детей своих. Вызволила. А не то, кто знает... Слышишь? И не утихает на дворе, все крутит, метет...

Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки снова слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинами. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых бураном в горах. Перед его взором крутая дорога, восходящая на белую-белую, заснеженную гору. Метель жгла щеки. Глаза резало. Они толкали вверх огромную, с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге. А грузовик уже не едет — сдает, пятится. Так страшно. Так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что машина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась Рогатая мать-олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им, толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — закричал мальчик. И машина пошла, пошла. Вылезли на гору, и машина поехала вниз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью и еще много машин. И всякий раз им помогала Рогатая мать-олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик видел и знал. Он видел: всякий раз, когда становилось невмоготу, когда становилось страшно, что сил не хватит, подбегала Рогатая мать-олениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль». Мальчик сел в кабину. Машина дрожала и гудела. И руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, с которым он играл в автомобиль — еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой, игрушечный. И вдруг машина стала крениться, падать набок. И упала с грохотом, и разбилась. Мальчик громко заплакал. Очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека.

— Ты чего? Ты чего, а? — разбудил его Кулубек.

Мальчик открыл глаза. И обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе.

— Приснилось? Испугался? Эх ты, а еще герой! — Он поцеловал мальчика жесткими, обветренными губами.— Ну, давай я тебя уложу, спать надо.

Он уложил мальчика на полу, на кошме, между спящими шоферами, и сам лег рядом с ним, придвинул его поближе к себе, под бок, и прикрылся полой бушлата.

Рано утром мальчика разбудил дед.

— Проснись,— тихо сказал старик.— Оденься потеплее. Поможешь мне. Вставай.

За окном мутно просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали вповалку.

— На, обуй валенки,— сказал дед Момун.

От деда пахло свежим сеном. Значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно. Но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка.

— Холодно! — вздрогнул мальчик.

— Ничего. Вроде развидняется,— пробурчал старик.— Надо же! С первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось...

Они вошли в хлев, где стояли пять момуновских овец. Старик нашарил на столбе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали.

— Держи, будешь мне светить,— сказал старик мальчику, передав ему фонарь.— Зарежем черную ярку. Гостей полон дом. Пока встанут, мясо чтобы было у нас готово.

Мальчик светил фонарем делу. Еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку чистого сена. Привел на это место черную ярку и, прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался, присел на корточки.

— Поставь фонарь. Садись и ты,— сказал он мальчику.

А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой:

— О великая прародительница наша, Рогатая мать-олениха. Приношу тебе в жертву черную овцу. За спасение детей наших в час опасный. За белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, на бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле, мы твои дети. Аминь!

Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз от лба к подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил овцу на землю, связал ей ноги. Вынул из ножен свой старый азиатский нож.

А мальчик светил ему фонарем.

Погода утихомирилась наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи: сугробы вкривь и вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавленный. И сама река точно бы ушла ниже, берега ее наросли снегом, стали круче. Вода шумела тише.

Солнце оставалось неустойчивым — то проглянет, то скроется.

Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночи забылись, буран забылся, а снег ему не мешал — так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело оттого, что в доме полно народу, оттого, что парни выспались, громко говорили, смеялись, оттого, что с аппетитом ели сваренную для них баранину.

Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило. Тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах.

Правда, мальчик заволновался, когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу. Вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб. Их провожали на лошадях дед Момун и Сейдахмат. Дед вез вязанку дров, а Сейдахмат — большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов.

Все двинулись со двора.

— Ата, и я пойду, возьми меня,— подбежал мальчик к деду.

— Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Устанешь ходить по снегу.

Мальчик обиделся. Надулся. И тогда его взял с собой Кулубек.

— Пошли с нами,— сказал он и взял его за руку.— Назад поедешь с дедом.

И они пошли на развилку — туда, куда спускалась дорога с сенокоса Арча. Снегу лежало еще порядочно.

Не так просто оказалось поспевать в шаг с этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать.

— Ну-ка, давай садись ко мне на спину,— предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко вскинул его к себе за плечи. И понес так привычно, словно каждый день носил его на спине.

— Здорово это получается у тебя, Кулубек,— сказал шофер, идущий рядом.

— А я всю жизнь братьев и сестер носил,— похвалился Кулубек.— Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уж дети. Вернулся из армии холостой, на работу еще не поступал. А сестренка — та, что старшая,— «Приезжай,— говорит,— к нам, живи у нас, ты так хорошо нянчишь детей».— «Ну, нет,— говорю ей,— хватит! Я теперь своих буду носить...»

Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека.

«Вот был бы у меня такой брат! — мечтал он.— Я бы никого не боялся. Попробовал бы Орозкул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже».

Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места.

Но вот разложили костер. Нагрели воду. Стали заводить мотор заводной ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрей. Каждую следующую машину заводили с буксира. Каждая заведенная, разогретая машина тащила затем ту, которая стояла за ней в колонне.

Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезть на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался, что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов, никто не прогнал его. Может быть, потому, что Кулубек разрешил ему помогать. А он здесь самый сильный, и его все уважают.

Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись. Сначала медленно, потом быстрей. И потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сы-

новья сыновей Рогатой матери-олениихи. Они не знали, что волей детского воображения впереди них по дороге невидимо бежала Рогатая мать-олениха. Длинными, стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны. Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути. От обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед. Разве не об этом просил дед Момун Рогатую мать-олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете?

Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними. Мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком. «Дядя Кулубек,— говорил он ему.— А впереди нас бежит по дороге Рогатая мать-олениха».— «Да ну?» — «Правда. Честное слово. Вот она!»

— Ну, ты чего задумался? Что стоишь? — заставил его очнуться дед Момун.— Садись, домой пора.— Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло.— Тебе холодно? — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы.

Мальчик тогда еще не ходил в школу.

А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо...» Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат. Ата. Така»[1]. Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат. Ата. Така. Ат. Ата. Така». Он уставал, в глазах рябило, и становилось жарко, очень жарко, мальчик открывался. А когда лежал открытым и мерз, опять посещали его разные видения. То он плавал рыбой в студеной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном, холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовали на месте. Колеса, бешено вращаясь, становились огненно-красными. Колеса горели, пламя шло от них. Упираясь рогами в кузов, Рогатая мать-олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил. Обливался горячим потом. И вдруг воз сена

---

[1] Ат, ата, така — лошадь, отец, подкова.

превратился в детскую колыбель. Рогатая мать-олениха сказала мальчику: «Побежали быстрей, отнесем бешик тетке Бекей и дяде Орозкулу». И они пустились бежать. Мальчик отстал. Но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов.

Он проснулся, когда послышались шаги на веранде и скрипнула дверь. Дед Момун и бабка вернулись, как будто немного успокоенные. Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Орозкула и тетку Бекей притихнуть. А может быть, Орозкул устал пьянствовать и уснул наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани.

Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. А вокруг в полном безмолвии пребывали горы, скалы, черные и неподвижные леса, и в самом низу билась и шумела река на камнях.

В окно косым потоком падал неверный свет луны. Этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза. Хотел попросить бабку, чтобы она занавесила окно. Но не стал: бабка была сердита на деда.

— Дурак,— шептала она, ложась спать.— Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал. Слушался бы других. Ты же у него в руках. Жалованье идет тебе от него, пусть грошовое. Зато каждый месяц. А без жалованья — кто ты есть? Стар, а ума не нажил...

Старик не отвечал. Бабка умолкла. Потом вдруг неожиданно громко сказала:

— Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он никто.

И опять старик ничего не ответил.

А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал — тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джелесае. Думал мальчик и о том, что если Орозкул выгонит деда с работы, то бабка житья не даст старику. Как им быть тогда?

Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и такие, которых

никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалованье другим? Наверное, самые лучшие люди те, которые получают самое большое жалованье. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалованья! Может быть, тогда и Орозкул начал бы уважать деда.

От этих мыслей голова мальчика разбаливалась все больше. Опять вспомнил он про маралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью? Одни ведь они в холодных и каменных горах, в черном, непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут, что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на рогах?

Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял Рогатую мать-олениху принести березовый бешик для Орозкула и тетки Бекей. «Пусть будут у них дети, пусть будут у них дети!» — заклинал он Рогатую мать-олениху. И слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила Рогатая мать-олениха, подцепив на рога волшебную колыбель...

7

Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно поежился.

— Лежи, лежи.— Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот.— Да ты никак занемог,— огорчился дед.— Жар у тебя. А я думаю, что он лежит? В школу пора.

— Я сейчас, я встану,— приподнял голову мальчик, и все закружилось у него перед глазами, и в ушах зашумело.

— И не думай вставать.— Дед уложил мальчика на подушку.— Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.

Мальчик попытался настоять на своем:

— Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу...

— Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай покажи язык.

Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс: задубелые от грубой работы, жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки

сердца в горячей, потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес:

— Бог милостив. Ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь — и, бог даст, встанешь утром как дикий кулан.

Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Момун помрачнел, сидя в постели внука, вздохнул и призадумался. «Бог с ним»,— прошептал со вздохом.

— Это когда же ты заболел? Что ж ты молчал? — обратился он к мальчику.— Вечером, что ли?

— Да под вечер. Когда увидел маралов за рекой. Я прибежал к тебе. А потом мне стало холодно.

Старик сказал почему-то виноватым голосом:

— Ну, ладно... Ты лежи, а я пойду.

Он поднялся, но мальчик задержал его:

— Ата, а там сама Рогатая мать-олениха, да? Та, что белая, как молоко, глаза вот такие, смотрит как человек...

— Дурачок ты,— осторожно улыбнулся старик Момун.— Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она,— сказал он глухо,— пречудная мать-олениха, кто знает?.. Я вот думаю...

Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора, она уже что-то разведала.

— Иди, старик, туда,— с порога заговорила бабка. Дед Момун сразу сник при этом, стал жалким, пришибленным.— Там они хотят выволочь бревно из реки машиной,— говорила бабка.— Так ты иди, делай все, что прикажут... Ох ты, боже мой, молоко-то еще некипяченое! — спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой.

Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать. Но бабка не дала ему рта раскрыть.

— Ну ты чего уставился? — возмутилась бабка.— Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну кто ты есть такой против них? К Орозкулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь, так десять бревен увезет по горам. А Орозкул на нас и не глядит даже. Как я ни уговаривала, как ни унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит она, неродиха твоя, у Сейдахмата. Глаза повыплакала. И проклинает она тебя — отца своего безмозглого...

— Ну, хватит,— не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал: — Молока дай горячего, заболел вон мальчонка.

— Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради бога.— И, выпроводив старика, она еще бурчала: — И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был — и на тебе вдруг! Да еще на коня орозкуловского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя,— стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика.— Было бы за кого на рожон лезть...

Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленым маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала:

— Пей, пей погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь.

Мальчик обжигался, слезы выступили у него на глазах. И бабка вдруг подобрела:

— Ну остуди, остуди немного... И надо же, приболел ты у нас в такое время! — вздохнула она.

Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он встал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость. Но бабка упредила:

— Постой, я сейчас принесу тебе тазик.

Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая.

Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше.

Мальчик лежал в постели спокойно, благодарный бабке за ее услугу, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех маралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка маралья — это и есть сама Рогатая мать-олениха, что с ней телок, большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый марал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков Рогатую мать-олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если маралы останутся у них и никуда не уйдут, то Рогатая мать-олениха скоро принесет дяде Орозкулу и тетке Бекей волшебную колыбель.

А маралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце пано-

ловину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок.

Пробираясь между деревьями, маралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том же порядке — впереди самец-рогач, посредине телок и последней — крутобокая матка, Рогатая мать-олениха. Маралы шли по той же тропе, по которой вчера Орозкул с дедом Момуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе еще свежей, пропаханной бороздой с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно.

Маралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. Орозкул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда, с тем чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Момун неуверенно шел позади всех, понурив голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Орозкул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет: «А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы!» Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика, он шел, как на пытку, и все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но, по сути, она конвоировала старика. Она гнала Расторопного Момуна на примирение с Орозкулом, на то, чтобы он заслужил у Орозкула прощение.

Орозкул ступал важно, по-хозяйски. Шел, отдуваясь, посапывая и строго поглядывал по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенит следом дед Момун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты еще у меня не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место. Ты еще сам повалишься мне в ноги»,— злорадствовал Орозкул, вспоминая, как истошным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пинками с порога. «Пусть! Вот отправлю этих с бревнами, я их еще сведу, пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза по-

выдерет. Озверела, как волчица»,— думал Орозкул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком.

Человека этого звали Кокетай. То был дюжий черный мужик, колхозный счетовод с приозерья. С Орозкулом он давно вел дружбу. Лет двенадцать тому назад построил Кокетай себе дом. Орозкул помог лесом. Продал по дешевке кругляки на распилезку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Орозкул снабдил его бревнами. Теперь Кокетай отделял младшего сына, и опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Орозкул выручал. Беда, как трудна жизнь! Одно сделаешь — ну, думаешь, теперь спокойно поживу. Ан жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Орозкул, теперь не обойдешься...

— Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу,— говорил Кокетай Орозкулу.

Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил:

— Спасибо. Когда зовут — не отказываемся, а не зовут — не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас: а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через совхоз незамеченным проехать. А не то, если засекут...

— Оно-то верно,— заколебался Кокетай.— Да долго ждать до вечера. Выедем потихоньку. Поста ведь нет на дороге, чтобы проверить нас?.. Случайно если наткнешься на милицию или на кого еще...

— То-то и оно! — пробурчал Орозкул, морщась от изжоги и головной боли.— Сто лет ездишь по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в сто лет — и влипнешь. Это всегда так...

Они замолчали, каждый думал о своем. Орозкул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то, был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправил бы машину с глаз долой... Эх, и угораздило же вчера случиться такому делу! Это все старый дурень Момун, бунтовать решил, из-под власти хотел выйти, из подчинения. Ну ладно же! Что-что, а это тебе не пройдет так просто...

Маралы пили воду, когда люди пришли к реке на противоположный берег. Странные существа эти люди — суетливые, шумливые. Занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку.

Маралы стояли в красных утренних кустах речного тугая, войдя по щиколотку в воду, на чистом галечнике прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная. А солнце пригревало сверху все горячей и приятней. Утоляя жажду, маралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин маралов. Покойное и благостное было утро того дня.

А люди так и не замечали маралов. Один человек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, маралы чутко улавливали доносившиеся до них изредка голоса и замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела, рокотала. Маралы шевельнулись, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места — люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались.

Маралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае, их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда маралы стали пересекать открытую прогалину сухого паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреневом песке, в ярком солнечном освещении. И застыли с разинутыми ртами, в разных позах.

— Смотри, смотри, что такое! — первым вскрикнул Сейдахмат.— Олени! Откуда они здесь?

— Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени, маралы это. Мы их вчера еще видели,— небрежно изрек Орозкул.— Откуда они? Пришли, стало быть.

— Пай, пай, пай! — восхищался дюжий Кокетай и от возбуждения расстегнул душивший его ворот рубашки.— А гладкие какие,— восхитился он,— отъелись...

— А матка-то какая! Смотри, как ступает,— вторил ему шофер, вытаращив глаза.— Ей-богу, с кобылицу-двухлетку. Первый раз вижу.

— А бык-то! Рожища-то смотри! Как только он их носит! И не боятся ничего. Откуда они такие, Орозкул? — допытывался Кокетай, с вожделением поблескивая свиными глазками.

— Заповедные, видать,— ответил Орозкул важно, с чувством хозяйского достоинства.— Из-за перевала при-

шли, с той стороны. А не боятся? Непуганые, вот и не боятся.

— Эх, ружье бы сейчас! — ляпнул вдруг Сейдахмат.— Мяса центнера на два потянет, а?

Момун, до сих пор робко стоявший в стороне, не утерпел.

— Да что ты, Сейдахмат. Охота на них запрещена,— сказал он негромко.

Орозкул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь!» — подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы напонал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали.

— Нечего попусту поучать,— раздраженно проговорил он, не глядя на Момуна.— Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем. Ясно? — грозно глянул он на растерявшегося старика.

— Ясно,— покорно ответил Момун и, опустив голову, отошел в сторону.

Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав.

— Ты бы уж молчал,— прошипела она укоризненно.

Все как-то пристыженно потупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Маралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога, за ним комолый телок, и замыкала это шествие Рогатая мать-олениха. На фоне чистого глинистого сброса маралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.

— Эх, красота какая! — не удержался от восторга шофер, лупоглазый молодой парень, очень смирный с виду.— Жаль, что не захватил фотоаппарата, мы были бы...

— Ну, ладно, красота,— недовольно перебил его Орозкул.— Нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай подгони машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы. А ты, Сейдахмат, разувайся,— распорядился он, упиваясь в душе своей властью.— И ты,— указал он шоферу.— И давайте цепляйте трос к бревну. Да поживей. Дело еще будет.

Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги. Они ему были тесноваты.

— Что смотришь, помоги ему,— тычком незаметным

толкнула старика бабка.— И разувайся, сам лезь в воду,— подсказывала она злобным шепотком.

Дед Момун кинулся стаскивать сапоги с Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Орозкул с Кокетаем командовали машиной:

— Давай сюда, сюда давай.

— Левее немного, левее. Вот так.

— Еще немножко.

Заслышав внизу непривычный шум машины, маралы на тропе убыстряли шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в березах.

— О, исчезли! — спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла.

— Ничего, никуда они не денутся! — отгадывая его мысли и довольный этим, хвастался Орозкул.— Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Сам бог велит. Попотчую я тебя на славу.— И, хохотнув, хлопнул друга по плечу. Орозкул мог быть и веселым.

— Ну, коли так, как велишь: ты хозяин, я гость,— покорился дюжий Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы.

Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в полколеса. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло.

Трос был стальной — длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывая на воду. Он еще не решил окончательно, стоит ли лезть в реку в сапогах или лучше будет разувшись. «И пожалуй, лучше босиком,— думал он.— Все равно вода зальется за голенища. Глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви». Но он также представлял себе и то, какая, должно быть, холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Момун.

— Ты не разувайся, сынок,— подскочил он к нему.— Мы пойдем с Сейдахматом.

— Да не стоит, аксакал,— возразил, смутившись, шофер.

— Ты гость, а мы здешние, ты садись за руль,— уговорил его дед Момун.

И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом:

— Ай, ай, лед, а не вода!

Орозкул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его:

— Терпи, терпи! Найдем, чем согреть тебя!

А дед Момун не издал ни звука. Он даже не почувствовал леденящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля бога лишь об одном, чтобы Орозкул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика...

И Орозкул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Момуна, не считая его за человека. А в душе торжествовал, что все же сломил взбунтовавшегося старика. «Так-то,— ехидно посмеивался Орозкул про себя.— Приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня большей власти, не таких бы крутил в бараний рог! Не таких заставил бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалются: председателя, мол, не уважают, директора не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством, как ровня. Дураки, власти недостойные! Разве же с ними так надо обращаться! Было ведь времечко, головы летели — и никто ни звука. Вот это было — да! А что теперь? Самый никудышный из никудышных и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай»,— злорадствовал Орозкул, поглядывая изредка в сторону Момуна.

А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сейдахматом и довольствовался тем, что Орозкул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось,— мысленно обращался он к Орозкулу.— Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери,— не сойти мне с места, пусть бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать — так пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю. Ты только скажи...»

Стоя в сторонке на берегу, бабка жестами и всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик! Ви-

дишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится».

Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрохотал выстрел. И снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким и спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жара, ни озноба. Он проспал бы, наверно, очень долго, если бы не бабка с теткой Бекей. Они старались говорить вполголоса, но загремели посудой, и мальчик проснулся.

— Держи вот большую чашку. И блюдо возьми.— оживленно шептала бабка в передней комнате.— А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя! Замаялась. Столько работы сделали. Но, слава богу, я так рада.

— Ой, не говори, энеке, и я так рада. Вчера умереть готова была. Если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя.

— Скажешь еще,— урезонила бабка.— Перцу взяла? Пошли. Сам бог послал дар свой на примирение ваше. Пошли, пошли.

Выходя из дома, уже на пороге, тетка Бекей спросила бабку про мальчика:

— А он все спит?

— Пусть поспит пока,— ответила бабка.— Как будет готово, принесем ему шурпы погорячей.

Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бекей смеялась, и Гульджамал и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверно, те люди, которые приехали ночью,— решил мальчик.— Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Момуна. Где он? Чем занят?

Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о маралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима. Надо бы им сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? Телка-мараленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здо-

рово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним?..

Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейдахмат. Очень довольный чем-то. Веселый. Сейдахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной, резкий запах, напоминавший о самодурстве Орозкула, о страданиях деда и тетки Бекей. Но, в отличие от Орозкула, Сейдахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился какой-то безобидно глуповатый, хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Момуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор:

— Что усмехаешься, как дурачок, Сейдахмат? И ты надрался?

— Аксакал, я тебя так люблю! Честное слово, аксакал, как отца родного.

— Э-эх, в твои-то годы! Другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы.

— Аксакал, в армии командир мне сказал, что я неспособен по этой части. Зато я пехота, аксакал, а без пехоты — ни туды и ни сюды...

— Пехота! Лодырь ты, а не пехота. А жена у тебя... У бога глаз нет. Сто таких, как ты, не стоят одной Гульджамал.

— Потому мы и здесь, аксакал,— я один, и она одна.

— Да что с тобой говорить. Здоровый, как бык, а ума...— Дед Момун безнадежно махал рукой.

— Му-у-у-у,— мычал и смеялся вслед ему Сейдахмат.

Потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную, невесть где услышанную песню:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце
Эй, рыжий купец, открывай двери,
Будем пить рыжее вино!

С бурых, бурых гор
Я приехал на буром быке.
Эй, бурый купец, открывай двери,
Будем пить бурое вино!..

И так могло продолжаться бесконечно, ибо приез-

жал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе — на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейдахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый.

И потому, когда появился подвыпивший Сейдахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему.

— Ха! — воскликнул Сейдахмат удивленно.— А мне сказали, что ты болеешь. Да ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Так не пойдет...— Он повалился к нему на постель и, обдавая спиртным духом и запахом сырого, парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика.

— Ну, хватит, дядя Сейдахмат,— попросил мальчик.— А где дедушка, ты не видел его?

— Дед твой там, это самое.— Сейдахмат неопределенно покрутил руками в воздухе.— Мы это... Бревно вытаскивали из воды. Ну и выпили для согрева. А сейчас он, это самое, мясо варит. Ты вставай. Давай одевайся — и пошли. Как же так! Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь.

— Дедушка не велел мне вставать,— сказал мальчик.

— Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру! Вставай.

С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика.

— Я сам,— пробовал отказаться мальчик, испытывая смутные приступы головокружения.

Но пьяный Сейдахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома, а сегодня такой день, когда и чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру...

Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сейдахматом из дома. День в горах стоял ветреный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась — от нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра, в лицо ударил дым костра. Глаза защипало. «Стирают, наверно, сегодня белье»,— подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громад-

ном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь. Тетка Бекей и Гульджамал поднимали его вдвоем.

Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом очаге,— побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щекой влажной ткани.

В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный — пар густо валил из кипящего казана, до краев наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось: мясной дух и запах костра защекотали обоняние, вызывая во рту слюну. Тетка Бекей в новом красном платье, в новых хромовых сапогах, в цветистом полушалке, сбившемся на плечи, наклонившись над костром, снимала поварешкой пену, а дед Момун, стоя подле нее на коленях, ворочал горящие поленья в очаге.

— Вон он, твой дед,— сказал Сейдахмат мальчику.— Пошли.

И сам только было затянул:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце, —

как из сарая высунулся Орозкул, бритоголовый, с топором руке, с засученными рукавами рубашки.

— Ты где пропадаешь? — грозно окликнул он Сейдахмата.— Гость тут дрова рубит,— кивнул он на шофера, коловшего поленья,— а ты песни поешь.

— Ну, мы это в два счета,— успокоил его Сейдахмат, направляясь к шоферу.— Давай, брат, я сам.

А мальчик приблизился к деду, стоявшему на коленях подле очага. Он подошел к нему сзади.

— Ата,— сказал он.

Дед не слышал.

— Ата,— повторил мальчик и тронул деда за плечо.

Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случалось такое, то разве где-нибудь на поминках иссык-кульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам. Но чтобы так просто — этого еще не случалось с дедом.

Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным, и когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги.

— Ты что, а? — глухо сказал он, прижимая к себе внука.— Ты что, а? Ты что? — И кроме этих слов, он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи.

Его волнение передалось мальчику.

— Ты заболел, ата? — с тревогой спросил он.

— Нет-нет. Я так просто,— пробормотал дед Момун.— Ты иди, походи немного. А я тут дрова, это самое...

Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и не оглядывался, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, коловшему дрова.

Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И, лишь подойдя поближе к сараю, он обратил внимание на большую груду красного свежего мяса, наваленного кучей на шкуру, разостланную по земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака, урча, мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый, огромный темнолицый человек. То был Кокетай. Он и Орозкул с ножами в руках разделывали мясо. Спокойно, не торопясь перекидывали они расчлененные мослы с мясом в разные места на растянутой шкуре.

— Удовольствие одно! А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу,— щедро предлагал ему Орозкул.— Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугой живот, точно он объелся чего-то; и сразу было заметно, что он уже крепко выпил. Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости.

Мальчик оторопел, холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую маралью голову. Отсе-

ченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах.

Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова Рогатой матери-оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную, мертвую голову белой маралицы. Той самой, что вчера еще была Рогатой матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову.

Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделывал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику.

— На, мальчик, изжарь на углях, вкусно будет,— сказал он.

Мальчик не шевелился.

— Возьми! — приказал Орозкул.

Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку Рогатой матери-оленихи. А Орозкул тем временем поднял за рога голову белой маралицы.

— Ох и тяжелая! — покачал он ее на весу.— Рога одни сколько весят.

Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа.

— Ай да рога! — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основание рогов.— Это мы деду твоему,— он подмигнул мальчику.— Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда больше! За такие рога не грех хоть сегодня помереть! — хохотнул он, нацеливаясь топором.

Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Орозкул рубил невпопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Тогда Орозкул стал рубить ее на земле. Голова отскакивала, а он гонялся за ней с топором.

Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз Рогатой матери-оленихи не бережется топора. Не моргнет, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу.

А рога не поддавались. Орозкул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове как попало — и обухом, и лезвием топора.

— Да так поломаешь рога. Дай мне,— подошел Сейдахмат.

— Прочь! Я сам! Черта с два — поломаешь! — прохрипел Орозкул, взмахивая топором.

— Ну как хочешь,— плюнул Сейдахмат, направляясь к себе домой.

За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса.

А Орозкул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову Рогатой матери-оленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть.

— Ах ты, сволочь! — с пеной у рта пинал он голову сапогом, точно мертвая голова могла его слышать.— Ну, нет, врешь! — налетал он с топором снова и снова.— Не я буду, если не доконаю тебя. На тебе! На тебе! — крушил он топором.

Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей.

Мальчик коротко вскрикнул, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная, густая жидкость. Умер глаз, исчез, опустел...

— Я и не такие головы могу размозжить! И не такие рога обломаю! — рычал Орозкул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове.

Наконец ему удалось проломить череп и в темени и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со звериной силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на ко-

торых мольбами мальчика Рогатая мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей...

Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же, на глазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испариной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла и у которого, повернувшись ко всем спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Момун. Мальчик не стал беспокоить деда. Ему хотелось быстрей добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть...

Навстречу ему попалась тетка Бекей. Нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами орозкуловых побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах большого мяса.

— Что с тобой? — остановила она мальчика.

— У меня голова болит,— сказал он.

— Да милый ты мой, болезный,— сказала она вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями.

Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разило водкой.

— Голова у него болит,— бормотала она умиленно.— Родненький ты мой! Ты, наверно, кушать хочешь?

— Нет, не хочу. Я хочу лечь.

— Ну так идем, идем, я тебя уложу. Что ж ты будешь один-одинешенек лежать. Ведь все будут у нас. И гости, и наши. И мясо уже готово.— И она потащила его с собой.

Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Орозкул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Момуна вырубленные им маральи рога. Старик привстал с места.

Не глядя на него, Орозкул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить, обливаясь.

— Можешь помирать теперь,— бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру.

Мальчик слышал, как дед пролепетал:

— Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение, стало быть...

— Я пойду домой,— сказал мальчик, чувствуя слабость в теле.

Тетка Бекей не послушалась.

— Нечего тебе там одному,— и почти насильно повела его в дом. Уложила на кровать в углу.

В доме у Орозкула все уже было готово к трапезе. Наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занимались бабка и Гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетка Бекей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Орозкул и черный дюжий Кокетай, полулежа на цветных одеялах, с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай на донышки пиал.

А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз.

Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор. И появился он затем в дверях с горой дымящегося мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Орозкулом и Кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушанья.

Все стали рассаживаться заново, приготовили ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам.

— Командиром водки буду я,— гоготал он, кивая на бутылки в углу.

Последним пришел дед Момун. Странный, слишком уж жалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжий Кокетай великодушно попросил его сесть рядом с ним.

— Проходите сюда, аксакал.

— Спасибо. Мы тут, мы ведь у себя,— пробовал отказаться дед Момун.

— Но все же вы самый старший,— настоял Кокетай и усадил его между собой и Сейдахматом.— Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово.

Дед Момун неуверенно прокашлялся.

— За мир в этом доме,— сказал он вымученно.— А там, где мир, там и счастье, дети мои.

— Правильно, правильно! — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы.

— А вы что ж? Нет, так не пойдет! Желаете счастья зятю и дочери, а сами не пьете,— упрекнул Кокетай засмущавшегося деда Момуна.

— Ну разве что за счастье, я что ж,— заторопился старик.

На удивление всем, он ахнул до дна почти полный стакан водки и, оглушенный, замотал старой головой.

— Вот это да!

— Наш старик не чета другим!

— Молодец ваш старик!

Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда.

В доме стало жарко и душно. Мальчик лежал в тягостных муках, его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо Рогатой матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.

— Не мясо, а молодой жеребенок! — похвалил Кокетай, причмокивая губами.

— А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такого мяса,— говорил Орозкул.

— Верно, для чего мы здесь живем,— поддакивал Сейдахмат.

Все хвалили мясо Рогатой матери-оленихи: и бабка, и тетка Бекей, и Гульджамал, и даже дед Момун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие кушанья. Но он отказывался, и видя, что ему нездоровится, пьяные оставили его в покое.

Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах был ничего поделать с этими людьми, убившими Рогатую мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии мальчик придумывал разные способы отмщения, как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, кроме как мысленно позвать на помощь Кулубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжавшего с молодыми шоферами за сеном в ту буранную ночь. Это был един-

ственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Орозкула, сказать ему всю правду в глаза.

...По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил из кабины с автоматом наперевес:

— Где они?

— Там они!

Побежали вдвоем к дому Орозкула, рванули двери.

— Ни с места! Руки вверх!— грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат.

Все обалдели. Оцепенели от страха, кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С мослами в жирных руках, с жирными щеками и жирными ртами, объевшиеся, пьяные, они не смогли даже шевельнуться.

— А ну, встань, гадина! — Кулубек приставил автомат к виску Орозкула, и тот затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека.

— По-щади, не-не убивай ме-ме-меня!

Но Кулубек был неумолим.

— Выходи, гадина! Конец тебе! — крепким пинком поднаддал он под жирную задницу Орозкула, заставил его встать, выйти из дома.

И все, кто был, перепуганные и молчаливые, вышли во двор.

— Становись к стене!— приказал Кулубек Орозкулу.— За то, что ты убил Рогатую мать-олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку,— тебе смерть!

Орозкул упал в пыль. Заползал, завыл, застонал:

— Не убивайте, у меня ведь и детей нет. Один я на всём свете. Ни сына у меня, ни дочери...

И куда девалась его надменность, его спесь! Жалкий и ничтожный трус. Такого даже убивать не захотелось.

— Ладно, не будем убивать,— сказал мальчик Кулубеку.— Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит.

Орозкул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь — жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе. Но Кулубек остановил его:

— Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно

дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи — и чтобы навсегда. А ну побыстрей!

Орозкул побежал без оглядки.

— Шнель! Шнель! — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух.

Радовался мальчик и ликовал. А когда Орозкул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоящим у дверей:

— Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?

Облегчение почувствовал мальчик. Совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Орозкула.

...Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Момуна в комнате не было. Вышел, наверное, куда-то. Женщины убирали посуду. Готовились подавать чай. Сейдахмат что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам.

— Ну и что дальше?

— Рассказывай!

— Нет, слушай, ты расскажи, ты повтори еще раз,— чуть не умирая от смеха, просил Орозкул,— как ты ему насчет этого? Как ты его напугал. Ой, не могу!

— Так вот, значит.— Сейдахмат охотно принялся повторять уже рассказанное.— Только мы стали подъезжать к маралам, а они стояли на опушке в леску, все три. Только мы привязали коней к деревьям, старик мой вдруг хватает меня за руку. «Не можем,— говорит,— мы стрелять маралов. Мы — бугинцы, дети Рогатой матери-оленихи!» А сам смотрит на меня, как ребенок. Умоляет глазами. А я — хоть стой, хоть падай — подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А, наоборот, так это серьезно. «Ты что,— говорю,— в тюрьму хочешь угодить?» — «Нет»,— говорит он. «А ты знаешь, что байские сказки эти, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ!» А он тогда и рот раскрыл. «Да что ты?» — говорит. «Вот то-то,— говорю,— ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу на тебя куда следует».

— Ха-ха-ха! — рассмеялись дружно сидевшие.

И больше всех Орозкул. Уж он-то хохотал в усладу.

— Ну а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и след простыл, а эти полоумные маралы не бегут, вроде бы и не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю,— прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат.— Я впереди с ружьем. Старик позади. И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал. А тут такое дело. Не попаду — рванут по лесу, и ищи их. Попробуй угонись за ними. Уйдут за перевал. Кому это нужно, такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валил в свое время. Я ему и говорю: «Вот тебе ружье, старик, стреляй». А он ни в какую! «Сам,— говорит,— стреляй». А я ему: «Да я же пьяный»,— говорю. И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою. А он видел, когда мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся.

— Ха-ха-ха!..

— «Я не попаду,—говорю,— уйдут маралы, второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться. Сам знаешь. А то смотри. Зачем нас сюда послали?» Молчит. А ружье не берет. «Ну,— говорю,— как хочешь». Бросил я ружье и вроде бы ухожу. Он за мной. «Мне,— я говорю,— все равно, выгонит меня Орозкул, пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?» Молчит. И я так это, потихоньку, для картины значит:

С рыжих, рыжих гор
Я приехал на рыжем жеребце.
Эй, рыжий купец, открывай двери!..

— Ха-ха-ха!..

— Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, маралы наши ушли чуть подальше. «Ну,—говорю,— смотри, уйдут, не догонишь. Стреляй, пока они непуганы». Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как полоумный: «Прости меня, Рогатая мать-олениха, прости...» А я ему свое: «Смотри,—говорю,— промажешь — убегай вместе с маралами куда глаза глядят, лучше не возвращайся».

— Ха-ха-ха!..

В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее, голова раскалывалась от разбухающей, не умещающейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его

голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбье, только голова оставалась своей, и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной, темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь,— говорил он сам себе.— Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой...»

И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал:

— Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.

А в доме Орозкула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса. Этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и муки. Ему казалось, что дурно ему оттого, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Момуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами Рогатой матери-оленихи. Обрубок маральей головы грызла собака. Больше никого не было.

Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо.

— Ата, пойдем домой,— сказал он.— Пойдем.

Старик не отвечал, он ничего не слышал, он не мог поднять головы. Да и что ему было отвечать, что сказать?

— Ну вставай, ата, пойдем домой,— просил мальчик.

Кто его знает, понимал ли он умом своим детским или же невдомек было ему, что старый Момун лежал здесь в расплату за сказку свою о Рогатой матери-оленихе, что не по своей воле посягнул он на то, что сам внушал ему всю жизнь,— на память предков, на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука...

И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика.

Мальчик присел возле деда, пытаясь расшевелить его.

— Ата, ну подними голову,— просил он. Мальчик был бледен, движения его были слабы, руки и губы дрожали.— Ата, это я. Ты слышишь? — говорил он.— Мне очень плохо,— заплакал он.— У меня голова болит, очень болит.

Старик застонал, шевельнулся, но не смог прийти в себя.

— Ата, а Кулубек приедет?— спросил вдруг мальчик сквозь слезы.— Скажи, Кулубек приедет? — тормошил он его.

Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой свалявшейся бороденкой, и почудилась мальчику в ту минуту голова белой маралицы, изрубленная давеча топором Орозкула. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил:

— Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата, я уплыву. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой.

Старик ничего не отвечал.

Мальчик побрел дальше. Спустился к реке. И ступил прямо в воду...

Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня.

С горбатых, горбатых гор
Я приехал на горбатом верблюде.
Эй, горбатый купец, открывай двери,
Будем пить горькое вино!..

Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу? Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился.

— Ты куда? — спросил бы Кулубек.

— Я к тебе! — ответил бы ты.

И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому не видимая Рогатая мать-олениха. Но ты бы видел ее.

Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу? Что не доплывешь до Иссык-Куля, не

увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение.

И в том еще, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди...

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!»

СОДЕРЖАНИЕ

Первый учитель. *Повесть* 5
Верблюжий глаз. *Повесть* 55
После сказки (Белый пароход). *Повесть* 87

Чингиз Торекулович Айтматов
БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Повести

Редактор С. В. Молева
Художник В. Н. Осенчаков
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор С. Б. Матвеева
Корректор Т. В. Мельникова

ИБ № 1713

Сдано в набор 12.11.80. Подписано к печати 3.04.81. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 3. Гарн. литературн. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,50. Уч.-изд. л. 11,07. Тираж 200 000 экз. Заказ № 656. Цена 40 коп.

Ордена Трудового [redacted], 191023, [redacted] Фонтанка, 59. Ордена Трудового [redacted] типография им. Володарского [redacted], 191023, [redacted] Фонтанка, 57.

Айтматов Ч. Т.
А11 Белый пароход: Повести. — Л.: Лениздат, 1981. — 200 с., ил. — (Школьная библиотека).

В книгу вошли известные повести Чингиза Айтматова «Первый учитель», «Верблюжий глаз» и «После сказки» («Белый пароход»).

А $\frac{70303\ 4702280200-206}{М171(03)-81}$ 181-81 84.3КИ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

0-40

Чингиз Айтматов — известный советский писатель, автор повестей и романов «Джамиля», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!», «Верблюжий глаз», «Белый пароход» и других. Его произведения получили заслуженное читательское признание, переведены на многие языки народов мира. Книга Ч. Айтматова «Повести гор и степей» в 1963 году была удостоена Ленинской премии.

ЛЕНИЗДАТ • 1981

40 коп.